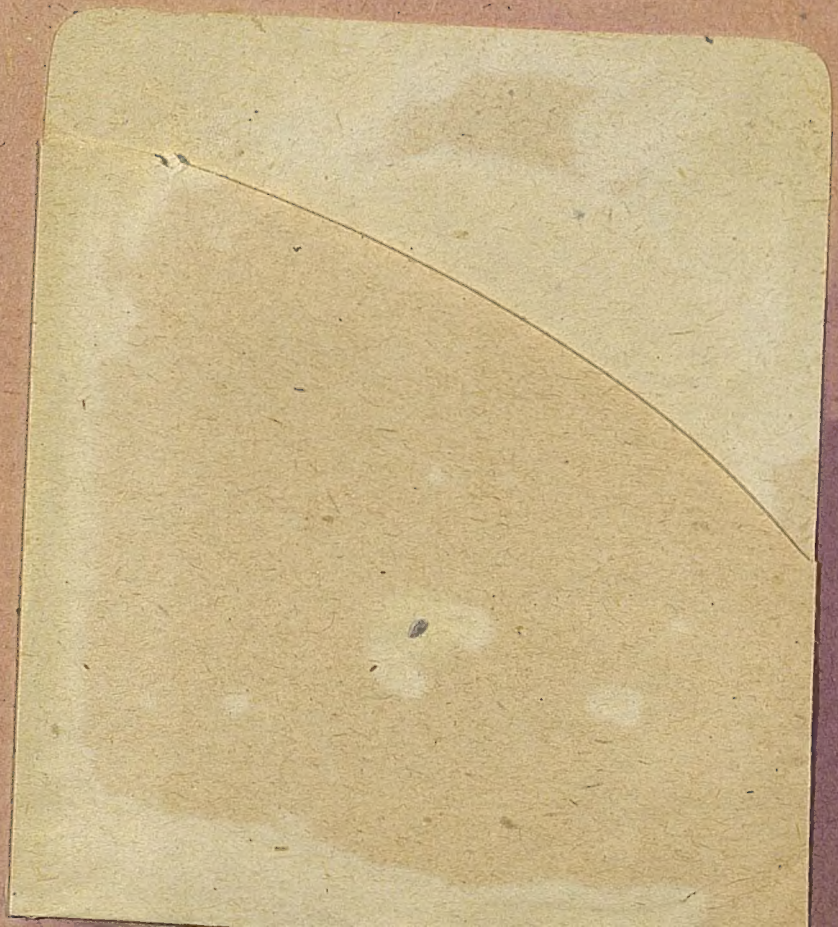
Бузук
РТ
20
Б-90



Проф. П. А. БУЗУК

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

2-е издание
переработанное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Т-ва „В. В. ДУМНОВ, н-ки бр. САЛАЕВЫХ“
МОСКВА—1924 г.

32408/8-0

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Т-ва „В. В. ДУМНОВ, насл. бр. Салаевых“.
Москва, Б. Лубянка, 15. Телефон: 2-31-29.

ПСИХОЛОГИЯ и ПЕДАГОГИКА.

Болтунов, А. П., проф. **Трудовая школа в психологическом освещении.** М., 1923 г., стр. 147, ц. 1 р. 50 к.

Его же. **Метод анкеты в педагогическом и психологическом освещении.** М., 1923 г., стр. 93, ц. 95 к.

Самсонов, Н. В., проф. **Развитие воображения у детей.** Посмертное издание. С предисл. проф. Г. Гордона. М., 1923 г., стр. 116, ц. 80 к.

Чарльс Мейерс, директор психологич. лаборатории Кембриджского университета. **Психика и труд.** Психологические факторы промышленности и торговли. Пер. с англ. О. И. Нечаевой. Под ред. и с предисловием проф. А. П. Нечаева. М., 1923 г., стр. 124, ц. 90 к.

Парамонов, М. К. **Заметки по новой школе** (Конспективная дидактика). С предисловием Н. К. Крупской. Изд. 2-е. М., 1923 г., стр. 110, ц. 75 к.

Поляков, В. Г. **Любимые игры детей.** Изд. 2-е. Допущено Научно-пед. Секцией Гус'а. М., 1923 г., стр. 94, ц. 70 к.

Рубинштейн, М. М., проф. **Эстетическое воспитание детей.** Изд. 3-е, исправл. М., 1924 г., стр. 118, ц. 1 р. 30 к.

Нечаев, А, проф. **Психологический метод обучения чтению.** Допущено Научно-Пед. Секц. Гус'а. М., 1923 г., стр. 52, ц. 30 к.

Игнатьев, В. Е., проф. **Исследование физического развития человека** дошкольного, школьного и призывного возраста (печатается).

РОДНОЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА.

Миртов, А. В. **Уменье говорить публично** (Живое слово). М. 1923 г., стр. 51, ц. 50 к.

Орлов, А. С. **Слово о полку Игореве.** М., 1923 г , стр. 56, ц. 50 к.

Григорьев, М. С., проф. **Введение в поэтику,** часть I. М., 1924 г., стр. 89, ц. 60 к.

Золотарев, С. А. **Общедоступные очерки по истории русской литературы.** Для самообразования. М., 1924 г., стр. 248, ц. 1 р 80 к.

Соколов, Б. М., проф. **Собиратели народных песен** (П. В. Киреевский, П. И. Якушкин, П. В. Шейн). М., 1923 г., стр. 75, ц. 80 к.

Родной язык в школе. Педагогический сборник, под ред. А. М. Лебедева. Допущ. Научно-пед. Секц. Гус'а, кн. 3-я, 1923 г., стр. 132, ц. 1 р. 50 к.

Родной язык в школе. Научно-педагогический сборник, под редакцией А. М. Лебедева, кн. 4-я. М., 1923 г., стр. 144, ц. 1 р. 70 к.

Родной язык в школе. Научно-педагогический сборник, под редакцией А. М. Лебедева, кн. 5-я, 1923 г., ц. 1 р. 50 к.

Лебедев, А. М. **Чтение и выразительное слово на младшей ступени школы.** Вып. I. „Библиотеки учителя родного языка“. Изд. 2-е. М., 1923 г., стр. 78. Допущено Научно-педагогич. Секцией Гус'а, ц. 50 к.

Его же. **Устные и письменные сочинения,** ц. 20 к.

„ **Внеклассное чтение учащихся,** ц. 20 к.

„ **Литературные чтения и беседы,** ц. 20 к.

„ **Самодеятельность и творчество учащихся в занятиях родным языком,** ц. 20 к.

„ **Учет работы в трудовой школе** (печатается).

„ **Комплексное преподавание в живом опыте** (печатается).

РТ
20
Б90

Проф. П. А. БУЗУК

4.01

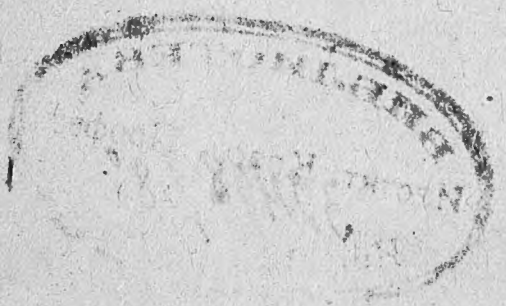
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

2-е издание,
переработанное и дополненное

БИБЛИОТЕКА
Институт Красн. Профес
32408 8°
Инв. №...

ИЗДАНИЕ
Т-ва „В. В. ДУМНОВ, насл. бр. САЛАЕВЫХ“
МОСКВА—1924 г.

Отпечатано в 5 типо-литографии „Мосполиграф“,
Мыльников пер., д. 14,
в количестве 3.000 экз.
Главлит № 13241. Москва.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящая книга представляет переработку моих „Очерков по психологии языка“, вышедших в Одессе в 1918 г. Изменения и дополнения выразились в следующем: введена одна новая глава (о сочетании звуков), в других главах некоторые вопросы более детализированы или же иначе освещены, соответственно последним достижениям языкознания как у нас в России, так и на Западе, откуда в последние годы опять стали проникать к нам научные книги; к некоторым главам присоединены методические замечания о применении языкознания к преподаванию родного языка. Все эти дополнения, составляющие приблизительно половину объема первой редакции книги, мне кажется, настолько изменили ее характер, что я счел нужным изменить и ее заглавие. На библиографическую полноту книга не претендует, чего и нельзя требовать от руководства общего характера, а тем более, от книги по общему языкознанию, представляющему синтез стольких дисциплин.

Старался я сохранить также во 2-м издании сжатость и популярность изложения.

В заключение считаю своим долгом принести горячую благодарность проф. П. О. Потапову, давшему оценку моим „Очеркам по психологии языка“, а также моим учителям—профессорам Б. М. Ляпунову и А. И. Томсону, советами которых я пользовался как до напечатания, так и после напечатания первой редакции моей книги.

Одесса, 4 июня 1923 г.

П. Бузук.

ГЛАВА I.

Природа слова и его образование в человеческой психике.

Прежде чем приступить к определению главных задач психологии языка и ее отделов, мы познакомимся в общих чертах с природой человеческого слова.

Произнесенный звук без значения не будет еще словом. Если мы переставим звуки, составляющие слово *рука*, мы не получим опять слова, так как звуковое сочетание *акур* не имеет никакого значения.

Слово—это сочетание внешнего знака, звукового или письменного, или заменяющего их психологического представления с определенным значением или мыслью. Вместе с обозначаемыми им понятиями и представлениями оно является совокупностью чисто психических процессов ассоциации и апперцепции.

Но, с другой стороны, и мышление невозможно без слов; психические процессы, составляющие содержание наших мыслей, необходимо выражаются в слове и связываются нераздельно с ним, как душа с телом.

До слова-ж нет никакой мысли. О чем-бы мы ни подумали, мы неизбежно свою мысль должны облечь в слова.

Мышление—разговор с самим собой.

Это является понятным даже людям, стоящим на низшей ступени развития. Так, напр., полинезийцы мышление называют „разговором в желудке“.

Но широкая интеллигентная публика любит обычно приводить против этого возражение, указывая на то,

что мы, дескать, часто думаем без слов, или на то, что мы что-нибудь хорошо можем понимать, не умея выразить, однако, нашу мысль словами. Но возражающие так совершают психологическую ошибку, принимая за мышление деятельность воображения, которая, действительно, может протекать без слов: в нашем сознании могут без слов являться и ассоциироваться друг с другом различные чувственные образы; но эти конкретные, нерасчлененные восприятия и представления не будут еще знанием, мышлением.

Мышление, в строгом смысле этого слова, есть активная деятельность познающего субъекта, оперирующая при помощи понятий; она состоит, во-первых, в образовании понятий (деятельность концепции), в соединении или разложении понятий (суждение) и в выведении нового суждения из двух или нескольких данных (умозаключение). В противоположность воображению, мышление уже неизбежно связывается со словом, составляя вместе с ним нераздельный комплекс ассоциационных и апперцепционных процессов.

Для того, чтобы понять роль слова в мышлении, мы совершим экскурс в область индивидуальной психологии и нарисуем вкратце картину образования понятия.

Понятие обычно определяют, как представление, которое относится к целому классу сходных предметов. Как-же оно зарождается в нашей душе?

Образование понятия представляет сложный психологический процесс, главными сторонами которого являются синтез и анализ. Первым моментом в образовании понятий является синтез, основанный на ассоциации по сходству. Воспринимая знакомое уже нам явление А, наше сознание вспоминает о прежнем сходном восприятии и синтезирует, сопоставляет их друг с другом, не выделяя, однако, общих признаков сходства.

Во второй момент наступает действие анализа, главным орудием которого является активная апперцепция.

Благодаря так-называемому „изменению сопутствующих элементов“, наша активная апперцепция совершает различение и выбор и, отбросив несходные признаки из

находящихся одновременно в нашем сознании двух образов—восприятия и воспоминания, выделяет лишь общие им признаки, которые и составят содержание образованного логического понятия.

Теперь мы рассмотрим, как проявляется общее понятие в нашей душе.

Действительно-ли соответствует понятию „растение" такое общее представление, которое обнимало-бы всех входящих в него представителей растительного царства? Существует-ли в нашей психике такое общее представление, которое было-бы и травой, и деревом, и тростником вместе?

Самые простые психологические наблюдения определенно нам доказывают невозможность получить такое общее представление. Если мы попытаемся представить себе понятие во всей полноте его объема, в нашем сознании начнут появляться отдельные частные представления, входящие в объем данного понятия: то трава, то куст (куст определенный, растущий в нашем саду), то дерево (акация, растущая у моего окна). Такое частное представление и будет заместителем общего представления или понятия. Но подобного рода заместители случайны и неопределенны. Общее значение получает понятие тогда, когда его заместителем становится постоянное, понятное другим людям слово.

Существование свое общее представление получает лишь в слове, обозначающем его. Мы постольку обладаем общим понятием растения, поскольку существует только обозначающее слово или даже обыкновенный жест, являющийся эквивалентом данного понятия.

Такова роль слова, как внешнего знака, нераздельно связанного с мыслью; понятие реализуется в нем как в волевом жесте, объективирующем продукты внутренней, психической деятельности.

Вместе с этим внешним знаком—жестом понятие составляет цельный ассоциационный процесс, который мы будем называть процессом слова—мысли. Ассоциационный характер слова является первой и главнейшей его чертой. Этот взгляд будет служить нам исходной точкой во всех наших дальнейших рассуждениях.

В начале главы мы сказали, что без слова нет мышления, которое представляет связь внешнего звукового знака со значением. Но, размышляя о чем-нибудь, мы, в действительности, не произносим вслух слов; звуки слова заменяются, как товар монетой, его соответствующими эквивалентами—слуховыми и моторными представлениями.

У грамотных людей к указанным ассоциациям присоединяется еще ассоциация со зрительным образом написанного или напечатанного слова или с представлением движений руки, с помощью которых мы пишем данное слово.

В этом сложном процессе ассоциации слуховых, моторных или зрительных представлений с интеллектуальными элементами значения и состоит процесс языка, который проф. Томсон определяет как способность понимать—говорить—читать—писать.

И в каждый из отдельных моментов этого сложного процесса языка возбуждаются особые ассоциации, отличающиеся иными членами и иным порядком. Так, при слушании речи другого человека в наше сознание проникают слуховые представления слов, которые и вызывают представление элементов значения. В этом состоит процесс понимания. При процессе же говорения порядок ассоциации будет иной. Первоначальным моментом являются элементы значения, которые вызывают соответствующее представление движения органов речи. Процесс чтения состоит в ассоциации зрительного представления со значением, и, наконец, порядок ассоциации при письме будет соответствовать порядку при процессе говорения: элементы значения ассоциируются с моторными представлениями пишущей руки.

У каждого человека может преобладать тот или иной род представлений. У людей, живущих умственной жизнью, при быстром мышлении слуховые, моторные или зрительные представления вытесняют элементы значения и могут непосредственно ассоциироваться друг с другом. У грамотных людей преобладают ассоциации со зрительным представлением написанного или напе-

чатанного слова или с моторными представлениями движений руки.

Такова психологическая сущность процесса слова.

Теперь мы рассмотрим, какие физиологические явления лежат в основании указанных психических процессов.

Всем перечисленным видам ассоциаций соответствуют определенные центры в коре большого мозга (центры Брока, Вернике, Degerine'a и графический центр). Существование этих центров было открыто, благодаря наблюдениям над мозгом людей, которые при жизни были больны частичной афазией.

Так, было замечено, что при поражении или разрушении задней части первой височной извилины левого полушария (у левшей—правого полушария), лежащей близко к общему слуховому центру, человек заболевает амнестической афазией или так-называемой словесной глухотой: воспринимая, вообще, звуки, он теряет, однако, способность понимать звуки человеческой речи, т.-е. соединять слуховые представления с элементами значения. Из этого заключают, что указанная извилина, названная центром Вернике по имени открывшего ее исследователя, и является центром, заведующим соответствующей ассоциацией и лежащим как бы на ассоциационном пути между слуховым представлением и представлением значения.

При этом заболевании человек может сохранить способность говорить, т.-е. связывать элементы значения с двигательными представлениями, хотя, вообще, в большинстве случаев поражение центра Вернике, вследствие устанавливающейся прочной ассоциации между слуховыми и моторными представлениями, влечет также функциональное расстройство способности говорения.

Другим видом расстройства речи является атактическая или двигательная афазия, состоящая в том, что больной, не теряя часто способности слышать и понимать чужую речь, не может, однако, сам передавать свои мысли другим людям. Он может произносить отдельные, бессмысленные звуки, но неспособен ассоциировать мысли с определенным и необходимым представлением движения органов речи.

Соответствующий мозговой центр, поражение которого и ведет описанное расстройство речи, лежит в задней части третьей лобной извилины, недалеко от общего моторного центра и по имени французского исследователя, открывшего его еще в 1861 г., носит название центра Брока.

Центром, заведующим ассоциациями зрительного представления написанного или напечатанного слова со значением его, является центр Degerine'a, находящийся в затылочной доле.

Патологическое состояние последнего влечет алексию, потерю способности читать при сохранившейся способности понимать и говорить.

Ученые предполагают еще существование четвертого словесного центра, особого моторно-графического центра, поражение которого является причиной аграфии, которую Шарко остроумно назвал „афазией руки".

Каждый из двух последних видов расстройства речи— алексия и аграфия, вследствие создающейся компликации между зрительными и моторно-графическими представлениями, в большинстве случаев также обычно сопровождает друг друга.

С другой стороны, зрительные образы слова довольно прочно связаны с его слуходвигательными представлениями, как это подтверждается наблюдениями ученых, доказывающих, что чтение обычно сопровождается внутренним произношением слов. Без этого внутреннего произношения можно понять, и то с трудом, лишь отдельные слова и небольшие предложения, понимание же более длинных фраз при подавлении внутренней речи становится невозможным. Данное обстоятельство можно было бы объяснить, предположив, что путь от зрительного центра к центру значения лежит не прямо, а через центры речи, или, по крайней мере, через центр слуховых образов. Но так как все-таки мы можем научиться с помощью упражнений читать только глазами и, следовательно, несомненным становится существование хотя и слабого, но прямого пути от центра зрительных образов к центру представлений значения слов, то поэтому Мейман и считает более приемлемым не

физиологическое, а психологическое объяснение данной проблемы. Очевидно, мы „язык слов изучили раньше и применяли гораздо чаще, чем читаемые слова, поэтому ассоциация между представлением значения и произносимым словом гораздо прочнее, чем между значением и видимым словом“ (Очерк экспериментальной педагогики, перев. Болтунова, 1916, стр. 343). Учение Брока и Вернике о мозговых центрах подверг критике Мари в своей работе „Revision de la question de l'aphasie etc“. (La semaine medicale за 1906 г). Основываясь на фактах, противоречащих учению о центре Брока, а именно, на случаях афазии без поражения извилины Брока и, наоборот, на случаях поражения этой извилины без афазии, а также и на связи двигательной афазии со слуховой, Мари приходит к следующим выводам: афазия Брока является лишь особого рода осложнением (в результате сочетания с анартрией) афазии Вернике, которая, в свою очередь, обусловлена не утратой слуховых представлений слов, а расстройством „интеллектуальной сферы“, локализирующейся по Мари именно в зоне Вернике.

Аргументы Мари не оказываются в достаточной степени убедительныии, как доказал это в своей прекрасной книге „Клинические и экспериментально-психологические исследования речевой функции“ (Спб. 1908, passim) д-р Аствацатуров. Сославшись, во-первых, на замечание Монакова (Ergebnisse der Phisiologie, 1907, стр. 394) о том, что клинический материал Мари состоял из стариков, обнаруживших смешение афатических и интеллектуальных расстройств, он еще раз подтверждает правильность выставленного Брока и Вернике учения о центрах речи. Случаям афазии Брока без поражения извилины Аствацатуров дает чисто психологическое объяснение, а именно, считает их результатом тесной связи моторных и сензорных функций, обратные-же случаи поражения извилины без афазии он объясняет как следствие довольно быстро совершающейся компенсации функций моторного центра другими частями лобной извилины (при неполном поражении) или же соответствующей областью правого полушария.

Другой отличительной чертой слова является его *апперцепционный характер.*

Слово—средство познания и как таковое оно представляет собою акт апперцепции.

Слово—средство апперцепции, формулирует эту мысль Штейнталь.

Апперцепция, вообще, представляет ассимиляцию познаваемого познанному, объяснение неизвестного посредством известного; по определению же Вундта, апперцепцией называется „вступление представления во внутреннюю фиксационную точку сознания" (Вундт, Основ. физиологич. психолог.).

По своему психологическому основанию она сводится, конечно, к процессу ассоциации. Но в таком первоначальном проявлении мы имеем еще дело с пассивной апперцепцией. При восприятии-же сложного представления или целого ряда представлений начинает действовать активная апперцепция, которая связана с процессом различения и выбора.

Действие активной апперцепции мы уже наблюдали при образовании понятий.

Выбор, который совершает активная апперцепция, находится в связи с нашим волевым стремлением; по выражению Джемса, он обусловлен интересом, и потому процесс активной апперцепции есть процесс воли.

„Апперцепция и реакция воли принадлежат в существенных чертах к одному и тому же процессу" (Вундт, ibid, стр. 817).

Этот процесс апперцепции является психологической схемой всей деятельности познания и по своему логическому значению представляет процесс суждения, при чем апперципируемое и подлежащее познанию нерасчлененное восприятие будет подлежащим, апперципирующие и объясняющие элементы — сказуемым.

Но этим, в действительности, дело не заканчивается.

Процесс апперцепции, как и всякое другое психическое явление, реализуется и завершение свое получает в слове или даже обыкновенном жесте..

Как жест, так и слово, несмотря на значительную между ними разницу, приобретает способность, благо-

даря постоянному значению и постоянной внешней форме разлагать чувственный образ и отыскивать в нем общее с прежде познанным и становится, таким образом, средством обозначения всех сходных восприятий и представлений, становится психологическим сказуемым ко всем будущим подлежащим.

В этом узнавании знакомых нам явлений и их обозначении или назывании и состоит все наше познание. И как бы мы не назвали предмет, вполне несомненным является то, что без жеста или слова, как предиката суждения, невозможно никакое мышление.

Мы говорим и мыслим только предложениями.

Первое слово, которым определяется начальный момент языка, и даже первоначальный жест будет уже предложением, и с анализа его, как полагает проф. Ф. Зелинский в своей статье о труде Вундта и, вслед за ним, автор популярного изложения вундтовского учения—г. Оппоков, и следовало бы начинать исследование языка.

Предложение грамматики часто определяют как „соединение слов, подчиненных общему сказуемому в виде законченной глагольной формы".

Но если мы обратимся к исследованию психологической природы суждения—предложения, мы увидим, что определение суждения как соединения представлений или слов противоречит действительности.

Мы уже видели, что психологическое сказуемое является разложением нерасчлененного чувственного представления или мысли. Еще Штейнталь впервые указал, что суждение не есть соединение двух понятий или представлений, но „чувственный образ есть первое, предикат же—разложение этого единства".

Но более определенно развивает эту мысль Вундт.

Чтобы пояснить предлагаемое им определение предложения, мы приведем следующий пример.

Нам надо предложение: дровосек пилит бревно.

Первоначальным нерасчлененным образом для нас является вид бревна, дровосека и пилы. Затем наше внимание произвольно выделяет из общей картины представление дровосека и представление бревна. Полученные

таким путем расчлененные представления вызывают соответствующие представления артикуляционных движений. Выразив при этом окончанием вин. пад. ед. ч. бревно, а также порядком слов (что особенно важно при совпадении форм имен. и вин. пад. ед. ч.) синтаксическое отношение между представлением дровосека и представлением бревна, мы получим предложение, которое Вундт и определяет как „выраженное средствами языка произвольное расчленение совокупного представления на его составные части, поставленные в логическое отношение друг к другу".

Путем дальнейшего расчленения из основного представления выделяется ряд признаков (старый дровосек, пилит пилой, толстое бревно), и вместе с этим мы получим ряд новых суждений.

Анализ совокупного представления распадается, таким образом, на ряд последовательных актов апперцепции, из которых каждый „будет раздвоением предыдущего сложного представления". Средством же этой апперцепции, как мы уже говорили раньше, и является слово. Итак, слово не только ассоциационный, но в то же время и апперцепционный процесс.

Но далее Вундт впадает в ошибку, утверждая, что, вообще, в развитии человеческого языка отдельное слово как обозначение отдельного признака или расчлененного представления, представляющего результат разложения чувственного образа, явилось позже из более первоначальных целых предложений, обозначавших нерасчлененное чувственное представление.

Повторяемость данного комплекса звуков, представляющего известное слово, и вступление его в сочетание с другими комплексами—словами и является, по Вундту, основанием для его различения и обособления.

Но, в сущности, этот взгляд является справедливым лишь по отношению к современному нам языку.

В прошлой же жизни языка отдельное слово, вырванное из предложения, не явилось позже целого грамматического предложения; им, т.-е. словом, выражалось не только частичное представление, но также и нерасчлененное чувственное представление, и потому отдель-

ное слово именно предшествует предложению современного типа, которое является уже выражением расчлененного на свои части совокупного представления.

Правда, это отдельное слово могло быть собственно целым предложением, или точнее, одним из его членов при пропущенных остальных членах. Приняв гипотезу параллелизма онтогенезиса речи его филогенезису, мы возможность подобных слов - предложений в языке первобытного человека можем подтвердить примерами из языка детей, в котором стул (тюй) может означать стул упал, дай мне стул, это—стул и т. д.

Но будет ли слово предикативным отношением к конкретному образу или обозначает оно расчлененное частичное представление,—несомненным является то, что вне процесса суждения оно не существует и рассматриваемое независимо от последнего оно действительно представляет абстракцию.

Теперь переходим к вопросу о происхождении языка. Пользуясь выводами современной психологии народов, мы проследим теперь процесс зарождения и дальнейшего развития слова во всей его психофизиологической полноте и законченности. Мы убедимся; что на всех ступенях своего развития так же, как и в момент своего первоначального зарождения, слово является ассоциационным процессом, что обусловлено общей особенностью человека всякое душевное переживание воплощать во внешних, телесных движениях.

Всякое душевное состояние, не только понятие, но даже чистое ощущение, восприятие и представление неизбежно отражается в различного рода телесных движениях, которыя Вундт называет выразительными движениями.

Эти движения нужно понимать не как результат воздействия души на тело, на мускульные нервы, как понимал их Гербарт и другие сторонники субстанционального понимания души. Известное душевное состояние и соответствующее ему выразительное движение являются, как раскрыл это Вундт в I т. своей „Völkerpsy-

chologie", двумя нераздельными сторонами одного и того же процесса. „In Wahrheit sind Affect und Ausdrucksbewegung zusammen ein einziger psychophysicher Vorgang, den wir erst auf Grund einer durch die Erfahrung geforderten Analyse und Abstraction in jene zwei Bestandtheile sondern" Völkerpsychol., I, стр. 484)*).

Разработка вопроса о выразительных движениях составляет одну из главнейших заслуг Вундта.

Все телесные движения в зависимости от участия нашей воли в их проявлении Вундт делит на автоматические (automatischen), происходящие чисто физиологическим путем, затем на инстинктивные (Triebbewegungen), обусловленные каким-нибудь одним побуждением, и произвольные (Willkürbewegungen), вытекающие из борьбы нескольких мотивов, из которых один, наиболее сильный, и становится импульсом движения.

Далее Вундт набрасывает в общих чертах картину развития всех этих видов движений и указывает, что, как автоматические, так и произвольные движения возникают из первоначальных инстинктивных.

Из этих движений при столкновении нескольких мотивов, как мы уже говорили, возникают, во-первых, произвольные движения и, во-вторых, автоматические, как результат привычки, механизирования первоначальных инстинктивных движений. Таким образом, Вундт расходится со взглядом Лацаруса, высказанным в его „Leben der Seele", что рефлективные движения (принадлежащие по Вундту к автоматическим) предшествуют волевым или произвольным. Если же ребенок чисто рефлекторным путем, на наш взгляд, реагирует на вкусовые ощущения, так это, безусловно, представляет результат унаследованной от предков привычки, берущей свое начало в первоначальном инстинктивном движении.

Далее Вундт переходит к главному вопросу I-й главы — к определению сущности выразительных дви-

*) В действительности аффект и выразительное движение являются вместе цельным психофизиологическим фактом, который мы лишь на основании опытным путем производимого анализа и абстракции расчленяем на две составные части.

жений, решение которого было намечено им уже в его „Основаниях физиологической психологии".

Выразительные движения не представляют какой-нибудь особой формы движений, к ним относятся перечисленные уже виды движений как рефлекторные, так инстинктивные и произвольные. Отличительной чертой их является лишь их симптоматический характер. „Служа проявлением внутреннего состояния,—проявлением, которое понимается другим существом того же рода и, может быть, вызывает ответ со стороны последнего, движение становится средством выражения мысли или чувства" (Основан. физиологич. психолог., перевод Кандинского, 1880 г., стр. 973).

Далее Вундт дает классификацию выразительных движений в зависимости от тех психических состояний, выражением которых они являются. Вундт различает выразительные движения, служащие выражением чувств и выразительные движения, связанные с представлениями.

Всякое простое чувство и даже сложный аффект Вундт определяет в трех отношениях: со стороны интенсивности (возбуждение или подавленность), в качественном отношении (приятное или неприятное) и, в-третьих, со стороны напряжения или разрешения.

Интенсивность чувства выражается, главным образом, во внутренних движениях, вызванных изменением иннервации, качественная же окраска чувства, а также напряжение и разрешение передаются преимущественно в мускульных движениях лица, в так называемых *мимических* движениях.

Третий род выразительных движений, движения пантомимические, связан уже с выражением аффектов — сложных психологических явлений, в состав которых входят как чувства, так и представления. Представление всегда неизбежно вызывает известное чувство и, таким образом, является вместе с чувством лишь двумя сторонами одного и того же психологического явления. Эта интеллектуальная сторона аффекта, т.-е. представление, проявляется уже в иного рода движениях,—в *пантомимических*, которые состоят, главным образом, в движениях мускулов рук и туловища.

Дополняя и развивая определения Энгеля и Тэйлора, Вундт все пантомимические движения делит на указательные (hinweisenden) и подражательные (nachahmenden).

Указательные пантомимические движения, представляющие более слабую форму. Вундт выводит из свойственных животной стадии—первоначальных хватательных движений. Подражательные движения также восходят к стадии животного развития; главным условием их возникновения является сообщество одинаковых индивидов.

Представление известного движения отдельного индивида, передаваясь сознанию другого индивида, действует, как инстинктивный повод к движению, и вызывает, вследствие этого, мимические и пантомимические движения.

Работу пчел нельзя объяснить ни из взаимного договора, ни из унаследованной ими способности к работе.

Только подражая старшим, младшие индивиды научаются также работать. Влияние же наследственности сказывается только в известной склонности, предрасположенности органов к совершению данной работы.

Все перечисленные формы выражения обыкновенно связываются нераздельно друг с другом, образуя комплекс симптомов, что мы можем наблюдать, напр., при гневе. Нужно упомянуть еще о том, что часто нельзя определить, к какому из двух видов, к указательным или к подражательным, относится известное пантомимическое движение. Так, сжатие кулаков может быть причислено как к указательным, так и к подражательным движениям.

Из этих выразительных движений ведет свое происхождение и человеческий язык, при чем переходной ступенью к современному нам языку звуков или звуковых жестов является стадия знаков или жестов в узком смысле, т.-е. жестов пантомимических.

Возникают жесты из высшего рода выразительных движений, движений пантомимических, служащих для выражения представления, но отличительной чертой их, по сравнению с бесцельными и бессознательными выразительными движениями является их *сознательное упо-*

требление как средства сообщения, передачи мысли другим людям. Лишь только установится ассоциация между определенным душевным состоянием и известным выразительным движением и станет заметным, напр., что гнев всегда сопровождается сжатием кулаков и нахмуриванием бровей, тогда данное выразительное движение становится произвольным знаком для обозначения известного переживания. Выразительное движение может превратиться в сознательный, произвольный жест лишь в обществе нескольких человеческих индивидов, и язык как система общепонятных, распространенных знаков, является, следовательно, *продуктом коллективной жизни человеческого общества.*

Исходным пунктом при классификации жестов Вундт избирает классификацию пантомимических движений, которые, как мы знаем, он делит на указательные и подражательные. И соответствующие им жесты он делит на указательные и изобразительные (darstellenden). Последние он подразделяет на *уподобляющие*, когда предмет изображается пальцем или всей кистью руки (напр., изображение денег с помощью касающихся друг друга указательного и большого пальцев), на *соозначительные*, когда изображается не самый предмет, а лишь его одна, наиболее характерная черта, и *символические*, обозначающие большей частью отвлеченные понятия наглядным, метафорическим путем (изображение лжи кривой линией у индейцев). Образование языка жестов может, вообще, служить иллюстрацией зарождения языка звуков, являющегося одним из видов языка жестов.

Итак, взгляд Вундта на происхождение языка отличается, с одной стороны, от взгляда Лацаруса и Штейнталя, видевших в первоначальном звуке человеческой речи лишь непроизвольное, рефлективное движение, и, с другой стороны, от теории намеренного изобретения, которая считала язык или продуктом работы отдельного какого-нибудь гения или результатом взаимного соглашения общества *).

*) К теории намеренного изобретения на Западе принадлежал Тидеманн; из русских же ученых Потебня к ней причисляет Орнатовского.

Теория Вундта соединяет в себе крайности этих обеих теорий.

„Непроизвольный стадий в развитии языка, говорит Вундт в „Основан. физиологич. психологии“ (стр. 994), естественно, переходит в стадий произвольный“.

От обыкновенных выразительных движений, свойственных и животному состоянию, жесты отличаются, по мнению Вундта, еще и тем, что они, как продукт человеческой психики, способны к изменению и развитию их значений и подчиняются законам элементарного синтаксиса. Правда, Дельбрюк (Grundefragen, стр. 69, 70) возражает против этого и видит в синтаксисе языка жестов, так научно разработанном Вундтом, лишь результат влияния со стороны нашего языка слов; затем Дельбрюк полагает также, что метафоры жестов, как, напр., изображение лжи у индейцев, могли возникнуть на почве обыкновенного языка.

Но как бы то ни было, ясно одно. Жест не только его позднейшая стадия—звуковой жест, но и жест пантомимический, является уже прообразом будущего слова, является тем первым элементом человеческого языка, с которого начинается человеческое мышление и без которого невозможно уже всякое дальнейшее познание, представляющее собой процесс активной апперцепции.

Переход от пассивной апперцепции к активной и связан с переходом от непроизвольного, рефлективного движения к произвольному, сознательному употреблению жеста.

В то время как выразительное движение является простым выражением чувства или представления, произвольный жест служит уже орудием активной апперцепции.

Переходим теперь к вопросу об образовании языка звуков. Звуковой язык развивается из тех же выразительных движений.

Органами их производства являются легкие, гортань и язык. От обыкновенных мимических и пантомимических движений движения названных органов отличаются тем, что они в человеческой психике вызывают уже не зрительное, а слуховое ощущение; для глаз они могут

оставаться скрытыми. Однако, при производстве разнообразных звуков языку помогают и движения мускулов лица, которые принадлежат уже к области мимических движений.

При колоссальном объеме своего труда Вундт не разработал вопроса о физиологической стороне производства звуков. Он не дает ни классификации человеческих звуков, ни их анализа.

Это объясняется тем, что Вундт, должно-быть, считал вопросы фонетики выходящими уже из компетенции как индивидуальной, так и общественной психологии.

Первоначальные звуки человеческой речи, как и всякое выразительное движение, связаны с выражением чувств. Первичной формой их являются звуки боли и страха. Способность издавать звуки боли неожиданно появляется даже у безгласных животных. И подобно тому, как непроизвольное инстинктивное движение превращается в произвольный жест, точно так же и рефлективный звук, вырвавшийся из груди человека, или, как его называет Вундт, естественный звук (Naturlaut)— постепенно переходит в произвольный артикулированный звук, отличительными чертами которого являются отчетливое, раздельное от других звуков его произношение и соответствующая высота.

Переход к произвольному употреблению звуков мы можем наблюдать на языке детей. Вследствие частого повторения определенного звукового комплекса устанавливается ассоциация между производимым слуховым ощущением и между ощущением соответствующих мускульных движений, получаемым ребенком от артикулирующих органов. Постепенно у ребенка появляется желание произвольно употребить определенный звуковой комплекс. Вспомогательными условиями при этом переходе к произвольному употреблению звука являются для ребенка ассоциации слуховых ощущений с соответствующими зрительными ощущениями, получаемыми от артикулирующих органов других людей, произносящих данный звуковой комплекс.

Являясь вполне развитым в физиологическом отношении, артикулированный произвольный звуковой жест

не будет, однако, словом в современном психологическом значении. Будучи непосредственным выражением чувства, охватившего нас при восприятии какого-нибудь явления этот звук является, как его правильно определил Штейнталь, междометием. Вундт считает все современные междометия остатками прежней жизни естественных звуков. Междометие вместе с вызвавшим его чувством представляет простой, неразложимый, так сказать, психофизиологический процесс.

Из этого междометия, как психофизиологического процесса образуется слово в современном нам смысле,— слово, как чисто психологический ассоциационный процесс, в котором звук или жест как внешнее, физиологическое проявление представления или понятия не играет уже существенной роли.

Постепенно, вследствие частого повторения определенного звукового комплекса, в сознании ребенка или первобытного человека начинает создаваться представление звука, во-первых, слуховое представление, получаемое от речи другого человека, которое сливается со сходным слуховым ощущением, получаемым от собственной речи, и, во-вторых, моторное представление движения органов речи. Эти представления, сензорное и моторное, и становятся теперь заместителями звука, как физиологического процесса движения.

В этой стадии развития языка психическое состояние, представление или чувство, не выражается уже непосредственно в движении; элементы значения ассоциируются теперь не с самым звуковым жестом, а лишь с его соответствующими представлениями. Так междометие как непосредственное обнаружение душевного явления превратилось в слово, как сложный психологический процесс ассоциации представлений.

Важную роль при образовании языка звуков-жестов, играл, должно быть, ритм. Повторению случайно и инстинктивно вырывавшихся звуков, обусловливавшему их запоминание и, таким образом, содействовавшему выработке слуховых и двигательных представлений этих звуков, способствовали ритмические движения во время работы.

Ритм, которому подчинены даже непроизвольно совершающиеся жизненные процессы, как кровеобращение и дыхание, представляет, таким образом, явление психофизиологического порядка; но он вносится нами также и в работу произвольных мышц. Укладывая ее в определенные повторяющиеся рамки двукратных или троекратных движений с одним из них выделяющимся по силе, мы этим автоматизируем наши движения и тем самым способствуем сбережению нашей психофизической энергии. Это укладывание движений работающих органов в повторяющиеся рамки достигается тем, что мы их подчиняем команде, подаваемой при коллективной работе вождем или же хором, в виде выкрикиваемых или распеваемых двухсложных или трехсложных стоп, составленных подчас из восклицаний без определенного смыла.

Фактором, группирующим звуки в стопы, является в нашем языке ударяемый слог.

При индивидуальной работе мы можем подавать себе команду или пением или же отсчитыванием (раздва), производимым, большей частью, внутренней речью.

Изложенная теория происхождения языка из ритма не исключает, однако, вундтовской теории появления языка, а только, может-быть, дополняет ее, выясняя роль одного из факторов, способствующих упрочению в памяти первоначальных звуков.

Пособиями при изучении вопроса о природе слова и его происхождении могут служить, кроме I т. „Völkerpsychologie“ Вундта и цитированной нами критической статьи проф. Ф. Зелинского об этом труде, еще труд проф. А. Л. Погодина „Язык, как творчество (Психологические и социальные основы творчества речи). Происхождение языка“ (Вопр. теор. и психолог творчества, т. IV, Харьков, 1913, затем статья О. Н. „Психология языка“ в Педагогическом Сборнике, издаваемом при Главн. Управлен. военно-учебн. завед. за 1901 г., и наконец, небольшая книжка М. Оппокова „Народопсихологическая грамматика Вильг. Вундта“.

Описание процесса речи содержит также III глава „Общего языковедения“ проф. А. И. Томсона.

Успех методики родного языка может быть гарантирован лишь тогда, когда ее фундаментом будет сделано учение об ассоциационном и апперцепционном характере слова. Особенно важное значение оно имеет для методики обучения правописанию. Экспериментальные исследования Лая показали вред диктовок, так как, если ученик сделает один раз ошибку, она потом, несмотря на поправки учителя, упрочается в памяти, так как в его сознании хорошо сохраняется именно первое зрительное и моторно-графическое представление ошибочно написанного слова. Наоборот, списывание, сопровождаемое произношением, дает самые лучшие результаты, так как в данном случае в сознание попадает зрительное представление правильного с правописной стороны образа слова; это зрительное представление поддерживается еще сопровождающими его представлениями — моторно-графическим, слуховым и движения органов речи.

ГЛАВА II.

Внутренняя связь между звуком и значением.

Звуковой артикулированный жест, распространяясь среди членов определенной языковой общины, постепенно превращается в слово, и так постепенно зарождается язык.

Но что представляет это первоначальное слово со стороны морфологического состава?

Если мы обратимся к анализу современного слова, мы увидим, что оно состоит, во-первых, из элементов, обозначающих какой-нибудь существенный признак данного понятия или представления, и элементов, которыми обозначаются отношения к другим словам (по Вундту, Grundelemente и Beziehungselemente). Но этой сложности нельзя предполагать в первоначальном звуковом жесте. Первоначальное слово было, следовательно, корнем, при чем этим корнем обозначались сперва реальные признаки явлений, но позже с развитием мышления и языка стали обозначать и отношения между явлениями. Другими словами говоря, мы должны предполагать существование отдельных родоначальников-корней не только для тех частей современного слова, которые мы называем корнями в узком смысле, но и для его флексий и суффиксов.

Отражение такого праязычного состояния можно видеть в китайском языке, хотя некоторые ученые, в противоположность этому взгляду, видят в китайском языке именно позднейшую стадию, стадию падения грамматических форм, приближающуюся к современному английскому языку.

Таким образом, мы должны признать за корнями не только абстрактное, но и реальное бытие.

Современное состояние флексивных языков развилось из более древнего дофлексивного периода.

Жизнь языка должна была начаться с корней, этих простых, неразложимых морфологических единиц. Гипотеза дофлексивного периода человеческого языка, имевшая многих сторонников, как Курциус, Дельбрюк, вызывает, однако, возражения некоторых ученых. С возражением против нее еще в 1874 г. выступил Потебня, который в III гл. „Записок по русской грамматике", полемизируя с Курциусом, говорит что нельзя от идеального бытия корня как известного обобщения многих сходных слов, заключать к его реальному бытию.

Вундт, принимавший в „Основаниях физиологич. психологии" теорию объективного бытия корней, — в „Völkerpsychologie", однако, отказывается от этой гипотезы и насмешливо сравнивает ее с золотым веком в мифологии.

Главный довод, из которого исходит Вундт, это его взгляд на отношения между словом и предложением. Подобно тому, как слово не является ранее предложения, а лишь в результате его расчленения, так-же и существование отдельного слова-корня не должно предшествовать сложному слову.

Но мы уже указывали на неправильность взгляда Вундта на происхождение слова из предложения.

Слово не является позже предложения. Словом может, выражаться и нерасчлененное представление, с другой стороны, оно само и средство расчленения; предложение-же между тем, выражает уже представление, расчлененное на свои части, которые поставлены в логическое отношение друг к другу.

Подобно этому и сложное слово, обладающее формальными элементами, которыми выражаются отношения между частичными представлениями, не может предшествовать корню, обозначающему цельное единичное явление. Сложное в морфологическом отношении слово, или иначе, флексивное состояние языка, именно, явилось в результате того-же расчленения.

Таким образом, кардинальная ошибка Вундта во взгляде, как на отношения между предложением и словом, так и на отношения между словом и отдельной морфологической его частью-та, что он провел полную параллель между грамматическим и психологическим анализом. Подобно тому, как в психологии частичное представление является из общего, цельного, подобно этому, решил Вундт, и слово является из предложения; но здесь однако, как мы уже достаточно выяснили, отношения обратные.

Итак, первоначально человеческий язык состоял из отдельных корней. Эти корни—звуки, подобно жестам, можно делить на предикативные или реальные и указательные или формальные, соответственно подражательным и указательным жестам.

Теперь мы займемся вопросом об отношении первоначального звука человеческой речи к значению, т. е. к обозначаемым представлениям и чувствам.

Существует-ли между звуком и восприятием необходимая внутренняя связь или, другими словами выражаясь, возникает-ли звук из подражания, как утверждала старая теория звукоподражания, или связь между представлением и вызванным им рефлективным звуком чисто случайна и необязательна и сводится часто лишь к сходству в сопровождающих и представление и звук чувствованиях как полагала теория натурального звука (Naturlauttheorie)

Этот вопрос, сводящийся, в сущности, к тому-же вопросу о происхождении языка, был главным предметом старой „философии языка“.

Правильное решение этого вопроса будет вытекать из предыдущих рассуждений. Основанной на анализе выразительных движений и анализе жестов — теории происхождения языка Вундт дает название теории развития (Entwickelungstheorie)

Мы уже указали, как зарождается звук.

Он является прежде всего жестом и возникает из инстинктивного стремления сообщить свою мысль другим индивидам. Все сказанное о природе звукового жеста

дает нам возможность решить вопрос о звукоподражании. Главным материалом служит для Вундта язык взрослого человека; языку-же детей он не придает большого значения, так как путь развития детского языка не будет параллельным развитию языка первобытного человека (онтогенезис речи ребенка не будет параллельным филогенезису): детский язык возникает, главным образом, под влиянием языка взрослых.

В языке взрослых мы находим, во-первых, междометия, являющиеся остатками первоначальных естественных, или, как проф. Зелинский переводит вундтовское Naturlaute, „природных звуков", затем звукоподражания и, наконец звуковые, образы.

Остановимся на разборе второй и третьей категории слов.

Ко второй категории, которую можно назвать звукоподражаниями в тесном смысле слова, принадлежат артикулированные звуки, подражающие слуховым ощущениям. К ней можно причислить, во-первых, названия птиц по издаваемым им звукам, как русск. *кукушка*, немецк. *Kuckuk*; нем. *Uhu*, лат. *bubo*—„сова", русск. перепел из более древнего пелепел, срв. также лит. pùtpela, затем название *грома* почти во всех языках (русск. гром, нем. Donner и т. д.), и, наконец, такие слова, как треск, стук, бултыхнуть, фыркать, жук, жужжать и т. п.

Наиболее интересной является третья категория—звуковые образы, обнимающие звуки человеческой речи, подражающие не слуховым восприятиям: зрительным, осязательным и друг. Но подобного рода слова не возникают, однако, из сознательного подражания. Они вытекают из инстинктивного стремления к подражанию, являются лишь звуковыми жестами, указательными или подражательныии. Главным импульсом при образовании этих звуков, особенно при создании звуковых жестов третьей категории является сходство чувства.

Чувство, вызываемое, напр., каким-нибудь зрительным восприятием, инстинктивно побуждает нас к производству звука, восприятие которого (составленное из слухового ощущения и ощущения, получаемого от артикулирующих органов) ассоциируется с тем же чувством,

Среди звуковых образов особенно заслуживают внимания „естественные звуковые метафоры".

Сущность „естественной звуковой метафоры" мы выясним на следующих примерах.

Во всех почти индо-европейских и семитических языках корень слова, обозначающего действие *лизать*, представляет сочетание звука l с мягким гласным звуком e или i: русское *лиз-ать*, литовск. lėžiù, немецк. lecken, латинск. lingo, греч. λειχω санскр. lihami. Приведенный ряд слов явился из индо-европейск. корня leiĝh. *).

Этот корень является естественной звуковой метафорой. Артикуляционные движения органов речи при производстве звукового сочетания лиз- или leĕ-, естественно как бы подражают внешним, объективным раздражениям: скольжение языка по небу как бы символизирует, вообще процесс лизания.

Сходную звуковую форму имеет также корень lip— в целом ряде индо-европ. языков: русск. лип-нуть, ст.-слов. льп-ети, литовск. lipti, греческ λιπος. Движения органов речи, служащие для производства звуков этого корня, сходны с физиологическими условиями производства звукового сочетания лиз- и, в свою очередь, символизируют процесс прилипания.

Таким образом, видим мы, естественные звуковые метафоры могут быть сопоставлены с символическими жестами.

Но самым универсальным видом естественных метафор являются названия отца и матери во всех почти языках.

В большинстве языков, индоевропейских и неиндоевропейских, в именах отца слышится затворный, взрывной согласный p, d, t, производящий на слух впечатление твердости, между тем как длительный носовой m, n, являющийся в названиях матери, производит впечатление более мягкого звука.

---

*) По типографским условиям значки неслогового качества i и средненебного произношения ĝ отстоят слишком далеко от букв.

Это различие в слуховых ощущениях соответствует, конечно, различию чувств, переживаемых ребенком при виде отца и матери.

Естественными звуковыми метафорами являются также различного рода пространственные обозначения. В наречиях места и указательных местоимениях, служащих для обозначения большей удаленности, всегда слышится гласный твердый, т.-е. если мы будем определять звук по высоте характерного тона,—низкий гласный (русское там, нем. dort, франц. là и т. д.).

В противоположность этим наречиям, в словах, служащих для обозначения близкого расстояния, преобладают мягкие или высокие гласные (русск. здесь, нем. hier, франц. ici и т. д. *).

Такое же соответствие между гласными корня в обозначении больших и малых предметов (*gross* и *klein*, *grand* и *petit*). О том, что *i* является обычно в словах для обозначения маленьких, тонких предметов, говорит также Есперсен (Philologi'ca, Journ. of comparat. Philology, 1921).

Вопросу о первоначальной связи слова со значением Бэк (Etymologie und Lautbedeutung im Lichte der Geisteswissenschaft, 1922, стр. 9) дает, вслед за Новалисом, название генетической этимологии, в отличие от прагматической, которая, оставаясь лишь в пределах историко-сравнительного языкознания данной семьи, исследует судьбу какого-нибудь слова в ограниченных рамках времени и места, доводя ее в лучшем случае лишь до праязычной формы. И вот, прибегнув к сравнению языков разных семейств, Бэк старается восстановить первоначальное значение отдельных звуков человеческой речи. На первом месте он ставит придыхательн. *h*, являющийся первым звуком человеческой речи, в который превращается гортанью воздух, идущий из легких. И потому понятно, что он стал способом для обозначения всего живущего, а позже—всего божественного, неземного. Он встречается в санскр. *Jivah*, в др.-евр. названии бога—J-H-V-H, затем в имени Евы (Havâh)—матери

*) О высоких и низких гласных см. следующую главу.

всего человечества. Переходя от Евы к соблазнившему ее змею, Бэк заявляет, что противоположным полюсом звуку *h* является звук, издаваемый змеем, т.-е. *s*. Этот звук лежит в основании обозначений всего телесного, земного: срв. тибетск. *Lha-sa*, в котором 1-я часть—*Lha* (*ch*) означает бог, 2-я—*sa*—земля. Стремлением отрешиться от земного и перейти к небесному объясняется переход конечного *s* в *h* в снкр. и в придыхание (при известных условиях) в греч. яз. *t* фигурирует в роли обозначения чего-то законченного, позже начинает обозначать смерть божественного (*Tod*, *θάνατος*), *n*, наоборот, обозначает бесформенное, неопределенное (*nox*, *νύξ*, *nabhas*, снкр. *na*—нет и т. д.).

Отдавая должное остроумию Бэка и считая возможным отнестись к некоторым из его этимологий, как к „звуковым естественным метафорам" (напр., возможно, что *h* явл. в названиях живого, *t* может соответствовать по условиям производства чему-то законченному), мы, однако, должны возразить против того, что он придает какое-то метафизическое значение связи между звуком и значением, забывая, что она может возникнуть только чисто инстинктивным путем.

Большинство грамматических форм возникло также из естественных звуковых метафор.

Кроме изменения гласного в корне или в глагольном суффиксе в зависимости от глагольного вида (напр., удлинение гласного в глаголе многократного вида), о чем говорит Вундт, мы можем указать еще на звуковые отличия в суффиксах имен мужск. и женск. рода. Так, в именах муж. р. является чаще в качестве суффикса гласный *o* или *u*, как более низкий, в именах же женск. р.—*a* или *i*—гласные более высокие.

В качестве примера естественной звуковой метафоры грамматического характера можно привести еще удвоение как способ обозначения множ. ч.: в языке самоа *fulu* означает волос, *fulufulu*—волоса, в японском *jama* гора, *jamajama*—горы (Вундт, Völkerpsychol. II, стр. 36).

Таким образом, для нас теперь вполне очевидно, что „теория развития" в конечном итоге доказывает, с одной стороны, права теории натурального звука и, с другой

стороны, права теории звукоподражания, при чем, сравнительно с последней теорией, она изменила лишь взгляд на самое понятие звукоподражания, которое она представляет себе как инстинктивное стремление выразить данное представление в определенном указательном или символическом жесте.

Если же теперь этимология многих слов не обнаруживает следов этого сходства между звуком и представлением, это объясняется, конечно, теми многочисленными фонетическими изменениями, которые пережили язык в своем развитии,

БИБЛИОТЕКА
Инстит. Красн. Профес
Инв. №

ГЛАВА III.

Звуки человеческой речи.

Определив природу слова и раскрыв картину его происхождения, мы рассмотрим теперь процесс дальнейшего развития языка и установим главные принципы этого развития.

Язык не является чем-то мертвым, неподвижным. Он вечно живет, меняется, при чем изменениям подвергается как внешняя, звуковая сторона, так и внутренняя сторона, т. е. значение слов, и, большей частью, изменения и той, и другой стороны протекают независимо одна от другой.

Изменения внешней стороны рассматриваются в фонетике, изменения второго рода—в семасиологии, составляющей часть грамматики.

Обзору звуков и их изменений мы и посвятим настоящую и следующую главы.

Предметом нашего изучения является лишь описательная фонетика, которая рассматривает, во-первых, звуки человеческой речи с акустической стороны и со стороны их производства (физиология звуков речи) и, во-вторых, главные виды звуковых изменений.

Историческим же изучением фонетических изменений в хронологическом порядке занимается историческая фонетика определенного, данного языка или группы родственных языков, которая является в то же время и сравнительной (об этом смотри X главу).

К обзору звуков человеческой речи и условий их производства мы и переходим.

Не соглашаясь с тем, что слово является лишь из предложения, как результат его расчленения и абстракции — по той причине, что словом может выражаться также и целое суждение, мы считаем, однако, бесспорным взгляд на звук, как на результат расчленения отдельного слова.

Звуки человеческой речи мы можем рассматривать с двух сторон: с акустической и с анатомо-физиологической, т.-е. со стороны условий их производства.

Устанавливая по слуху качественные различия, мы все звуки человеческой речи прежде всего делим на две больших группы: гласные и согласные звуки.

С акустической стороны различие между этими группами сводится к ощущению шума в согласном, в то время как гласный звук воспринимается ухом как музыкальный тон с определенной высотой, которой соответствует известное число колебаний, и с определенной окраской или тэмбром.

Этот музыкальный тон может принадлежать голосу или шепоту.

С анатомо-физиологической стороны гласные характеризуются тем, что при сравнительно большой степени раскрытия ротовой полости, голос свободно проходит через нее, не встречая на своем пути преград, при чем артикуляция языка является дорсальной, т.-е. его спинка становится более выпуклой (Sievers, Grundzüge der Phonetik 5, 1901, стр. 79). Придавая большее значение анатомофизиологической разнице между гласными и согласными, проф. Богородицкий (Введение в тюрко-татарском языкознание, 1922, стр. 16 и др.) первым дает название рто-раскрывателей, вторым — ртосмыкателей.

Гласные звуки.

Главным акустическим условием различения гласных звуков является, вообще, различие высоты и тэмбра. Если мы возьмем ряд общих всем языкам гласных *a*, *o*, *u*, *i*, *e*, (звуки я передаю латинскими буквами) и постараемся их распределить в порядке возрастающей

высоты, то мы даже без помощи какого-нибудь экспериментального исследования их распределим в таком порядке: u, o, a, e, i.

Все они в одинаковой степени являются чистыми гласными звуками. Чем-же в таком случае стихия одного гласного, напр. *u*, отличается от стихии другого гласного, напр., *i*?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим сначала, какие физические и физиологические явления лежат в основании этого различия по тэмбру.

Главными органами производства человеческого голоса являются легкие, гортань с двумя мускулами, прикрепленными к ее стенкам и называемыми голосовыми связками, и, наконец, ротовая и носовая полости, которые, как наставные трубы, играют роль резонаторов.

Легкие мы включаем в число органов речи, потому что человек может говорить постольку, поскольку выдыхательный ток проходит через гортань и приводит в колебание голосовые связки; когда весь воздух выйдет из легких, человек во время паузы снова набирает воздух в легкие, чтобы иметь возможность продолжать свою речь.

При свободном дыхании голосовые связки удалены друг от друга, и голос свободно проходит через широко открытую гортань.

При производстве же голоса (гласных и звонких согласных) голосовые связки, как струны, натягиваются и приводятся в соприкосновение друг с другом; силой надавливающего снизу тока воздуха они затем приводятся в ритмическое колебание, состоящее в том, что они попеременно то раздвигаются, то закрываются.

Нужно указать еще на то положение голосовых связок, которое является физиологическим условием производства шепота и согласных глухих звуков.

В последнем случае не вся голосовая щель закрыта; связки соприкасаются друг с другом, но задняя часть щели между черпаловидными хрящиками, к которым и прикреплены самые связки, открыта.

Проходя через эту хрящевую щель, воздух вызывает шум трения, который и воспринимается ухом как шопот или согласный глухой.

Теперь мы ознакомимся с причинами различения звуков человеческой речи.

Голос каждого человека, как и звук одной высоты, но издаваемый на различных инструментах, имеет свою окраску или тэмбр; различной окраской отличаются друг от друга и отдельные звуки речи как гласные, так и согласные. Это различение тэмбра обусловливается различием парциальных тонов или обертонов. Физическая причина этих парциальных тонов заключается в том, что одновременно со всей струной колеблются ее части: половина, четверть, осьмая и т. д. Являясь вдвое, вчетверо короче, эти части по физическим законам, которые в физике проверяются в опытах с монохордом, звучат выше октавой, двумя, четырьмя и т. д.

В зависимости от преобладания тех или иных парциальных тонов получается тот или иной тэмбр звука.

Таким-же сложным является и звук, производимый голосовыми связками.

Различным составом тонов обусловливается и различение одного гласного звука от другого, при чем главная роль в модификации стихии гласного звука принадлежит ротовой полости.

Взгляды ученых по этому вопросу, однако, расходятся.

По мнению теории резонанса, которую разработал Гельмгольц, роль ротовой полости состоит в том, что она как резонатор усиливает один определенный парциональный тон из входящих в состав голоса и заглушает остальные.

Против этой теории возражает, однако, проф. Томсон (Общее языковедение, глава 4-я), который указывает на то, что звук резонируемый, по мнению Гельмгольца, в ротовой полости, для каждого гласного является, вообще, определенным и постоянным по высоте, несмотря даже на то, что высота голоса может меняться (i мы можем произносить низким голосом, u — высоким) этот звук

полость рта может издавать даже при шопоте и даже тогда, если, мы, изменяя только соответствующим образом форму ротовой полости, будем ногтем ударять по зубам. Мы заметим, как с переходом от u к i звук, издаваемый полостью рта, повышается; следовательно, этот звук независим от составных тонов голоса, и потому проф. Томсон его определяет как собственный шум ротовой полости.

При производстве гласного голосом мы можем комбинировать один постоянный тон резонирующей полости с меняющимся тоном голоса, которым и заглушается характерный тон ротового резонатора; но при шопотном гласном только этот тон ротовой полости и воспринимается; пытаясь произнести шепотом **o** на разные тона, мы начинаем, в сущности, произносить уже другие гласные. В анатомо-физиологическом отличии этих новых гласных от **o** мы сможем убедиться с помощью зеркала или даже простого мускульного ощущения: произнося **o** на более высокие тона, мы замечаем, как язык постепенно передвигается вперед.

Высоту характерных шумов гласных русского языка устанавливают проф. Томсон в своих „Фонетических этюдах“ („Русск. Филологич. Вестник“ за 1905 г.), Щерба в книге „Русские гласные в качественном и количественном отношении“ (Спб. 1912) и др.

Последний старается, между прочим, доказать, что русские гласные обычно характеризируются двумя тонами, при чем этому второму тону Щерба придает также важное значение. Так, напр., оказывается, что первый характерный тон у **ы** такой-же, как и у **a**, и таким образом, основанием для различения этих гласных друг от друга является второй характерный тон (Русские гласные, стр. 71).

Зависимость между изменениями формы ротовой полости как резонатора и соответствующими изменениями высоты характерного шума гласного звука может быть выражена в следующих физических законах: при укорочении резонатора тон повышается, при удлинении—тон понижается.

Удлинение резонирующей полости рта достигается отодвиганием назад приподнятой спинки языка (язык принимает выпуклое, или так называемое дорсальное положение).

Второй закон, которым устанавливается зависимость между формой полости рта и высотой характерного шума, гласит следующее: при уменьшении отверстия резонатора тон его понижается, при увеличении отверстия — повышается. Этим законом объясняется так называемая лабиализация, состоящая в том, что губы вытягиваются вперед и округляются, чем и достигается уменьшение отверстия губ.

Лабиализации в некоторых западных языках могут подвергаться не только гласные сами по себе низкие (o, u), но и высокие как i, e. Таким лабиализованным i является франц. u, нем. ü; лабиализованное e мы имеем во франц. eu и нем. ö.

Лабиализованные ü, ö существуют и в великорусском языке. Обычно ü слышится в гласных: людей, стараюсь—(Ол. Брок „Очерк физиолигии славянской речи", Спб. 1910, стр. 126) В качестве примера ö в русск. яз. Шахматов приводит слово тётя (Очерк современн. русск. литературн. языка; курс, читанн. в Спб. унив в 1911—12 г.) Является-ли гласный лабиализованным или нет, губы, однако, принимают вообще участие, хотя бы тем, что должны прижаться к зубам, как, напр., при i.

Это действие губ при отдельном произношении гласного почти вдвое продолжительнее действия гортани, как на это указал проф. Богородицкий (Курс экспериментальной фонетики, вып. III, 1922, стр. 64). Происходит это потому, что артикуляция губ начинается немного раньше и кончается немного позже звучания голосовых связок, в чем нас может убедить простое наблюдение.

Существует также зависимость между высотой собственного звука ротовой полости и шириной ее, при чем было замечено, что уменьшение ширины резонирующей полости в стороне отверстия понижает звук; уменьшение же ширины полости в противоположной стороне понижает собственный звук резонатора. Наи-

большее повышение характерного тона достигается при производстве звука i, которому соответствует самый короткий резонатор; это укорочение резонатора достигается, во-первых, палатализацией и, во-вторых, полным устранением губ.

Палатализация состоит в приближении кончика языка к самой передней части твердого неба. В этом случае язык принимает вогнутое, или так называемое корональное положение.

Укорочению резонатора при производстве звука i способствует также устранение губ.

Следует указать еще на то, что, в действительности, подъем спинки языка, разделяя ротовую полость на две различных размеров части, образует два резонатора— передний и задний; но последний, однако, не играет такой роли, как передний резонатор. При опущении языка, т.-е. при производстве широких гласных a, ä— оба резонатора сливаются в один общий.

Итак, заканчивая обзор гласных звуков, мы видим, что в их производстве главную роль играют звуки, издаваемые из ротовой полости. Примем ли мы теорию резонанса Гельмгольца или согласимся с мнением проф. Томсона о том, что звуки ротовой полости независимы от звуков самого голоса, ясно то, что именно высотой и составом тонов, которые производятся в ротовой полости, и обусловливается различие гласных звуков. Если мы разложим на аналитическом аппарате Koenig,a известный гласный звук на составляющие его парциальные тоны, тогда мы, зная состав данного гласного, сможем получить его искусственным путем на синтетическом камертонном аппарате Гельмгольца, усовершенствованном тем же Koenig'ом. Аппарат этот состоит из системы камертонов, которые приводятся в движение электромагнитами. (Подробнее об аналитическом и синтетическом аппаратах см. в „Общем языковеден" Томсона, стр. 124 след.).

И вот таким аналитическим прибором, превращающим движения воздушных волн в звуки определенной высоты и тембра, является находящаяся во внутреннем ухе основная перепонка, к которой подходят нервные

окончания; она состоит из многочисленных волокон разной длины, играющих роль струн.

В заключение обзора гласных звуков мы прилагаем таблицу этих звуков, хотя следует сказать, что таблица эта имеет в лингвистике скорее традиционное значение и не имеет никакого отношения ко всему сказанному о собственных звуках ротовой полости, как главном условии различения гласных звуков. Основанием классификации звуков в этой таблице является различное положение языка в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В каждом из этих двух направлений фиксируются три более устойчивых пункта—два крайних и средний; таким образом, для всей ротовой полости получается девять возможных положений, в которых возможны по две разновидности: с лабиализацией и без таковой. Наконец, каждый из получившихся восемнадцати типов гласных лингвисты различают по степени напряженности артикулирующих органов, вводя для различения термины—напряженный и ненапряженный, которые имеют, однако, значение относительное. При напряженном состоянии бока языка более стянуты, спинка же становится более выпуклой. Обычно в русском языке напряженными являются ударенные гласные, но ударенные мягкие гласные обычно не бывают напряженными перед следующими твердыми (срв. *Эта—э* ненапряженным и *эти с* напряженным *э*). Напряженность *а* и *о*, как указал Шахматов в „Очерке современн. русск. литературн. яз.“ (в гл. „Звуков. состав русск. яз.“). вызывается также следующим твердым *л* при условии ударенности этих гласных: дал, знала, стол. Итак, из бесчисленного разнообразия возможных в человеческом языке гласных получается 36 более устойчивых типов. Но в действительности большинство из них отпадает, по крайней мере, отпадает в фонетических таблицах. Так напр., в русском языке не зафиксированы гласные заднего ряда нелабиализованные, соответствующие лабиализованным *у* и *о*. Проф. Ушаков говорит, что эти гласные „акустически должны быть ближе к соответствующим по подъему гласным среднего ряда и трудно

от них отличимы" (Кратк. введен. в науку о языке[5], стр. 25). Но мне кажется, что отсутствие в русском и других языках нелабиализованных *и* и *о* объясняется, главным образом, тем, что создалась прочная компликация движений губ с движениями языка и поэтому затруднительным становится отделение соответствующей артикуляции языка от лабиализации. Вследствие некоторой трудности произношения, обусловленной неустойчивостью положения языка и отчасти вследствие трудности различения от соседних положений—не полностью представлен средненебный ряд.

Более известным типом среднего ряда является *ы*, но и он отсутствует во многих языках; в тех же языках, где он существует, он проявляет склонность к переходу в дифтонг со 2-й неслоговой частью, близкой к *i*. Это дифтонгическое произношение *ы*, которое отличало, должно быть, прасловянский и старо-словянский языки и которое проф. Кочубинский отметил в современных галицких говорах (см. проф. Ляпунова „А. А. Кочубинский и его труды по славянской филологии" Одесса, 1909, стр 21—23), проф. же Томсон в современном великорусском языке (Фонетическ. этюды, отд. отт., стр. 39—54), физиологически и объясняется тем, что язык до конца произношения этого гласного не может удержаться в мало-устойчивом сравнительно положении и передвигается в сторону более удобного и более привычного для него артикулирования звука *i*.

И таким образем, 36 теоретически возможных типов сводится к более простой сравнительно таблице гласных звуков.

Понятие устойчивости в данном случае является относительным. Из этих 36 гласных более устойчивыми являются 22 (точнее одиннадцать, из коих каждый может иметь два оттенка—напряженный и ненапряженный); следующая степень устойчивости представлена пятью гласными *i*, *e*, *a*, *o*, *u*; и, наконец, из последних самыми устойчивыми являются три гласные *i*, *a*, *u*, представляющие как раз вершины треугольной схемы (о ней см. ниже). Лежащие же между ними *e* и *o* в известной степени склонны к изменению в сторону этих устойчивых

типов. Так, мы знаем, что *e*, *o* в укр. яз. дифтонгизируются, в отдельных же его наречиях явившиеся из этих долгих гласных дифтонги переходят в *i*, *u*; в праславянском яз. $\bar{e} > ie$, наконец, в древне-индийском *e* и *o* перешли в *a*, и вот это обстоятельство дало даже повод Шлейхеру сделать ошибочное заключение о первоначальности гласных *i*, *u*, *a* в индо-европейск. праязыке (Шлейхерова теория вокализма). По той же причине ребенок раньше начинает произносить *a*, *i*, *u*,

Приводимую таблицу, которая представляет упрощение таблицы английских фонетиков, я заимствую из „Общего языковедения“ проф. Томсона, при чем я сократил число примеров и опустил английские термины, сравнительно с таблицей, приведенной в учебнике проф. Томсона.

В ней, между прочим, не отмечена напряженность и ненапряженность звуков, и поэтому, собственно, число гласных, передаваемых этой таблицей, равно удвоенному числу заполненных в ней клеток.

	Твердонебные		Средненебные		Мягконебные	
	Нелабиал.	Лабиал.	Нелабиал.	Лабиал.	Нелабиал.	Лабиал.
Высокие	i вино нем. vier	ü нем. dünn фр, une	ы дым.			u рука нем. Mund
Средние	e этот фр. été	ö нем. schön фр. deux	ə нем. gabe			o дом gross фр. rose
Низкие	ä пять фр. main				a дать	a⁰ вода

К помещенной нами таблице нужны некоторые пояснения. Средний твердонебный нелабиализованный гласный *e* в русском алфавите обозначается буквой э; это е не следует смешивать с иотованным е, которое слышится в словах *ель*, *есть* и которое в западных языках правильно передается через je: немецкое *jeder*. ä, обычное во французском и немецком языках, известно также и

в русском языке вместо ударенного *а* между мягкими согласными (пишется буква *я*): пять, зять.

Низкий мягконебный лабиализованный гласный a^0 в лингвистике называют также а, склонным к о. Такой средний между *а* и *о* звук слышится в южно-великорусском наречии (в так-называемых „акающих" говорах) на месте неударенного о: ва^{0}да, на^{0}га и т. д.

В трудах немецких и французских фонетиков классификация гласных звуков носит несколько иной вид. Основываясь на том, что расстояние между низким твердонебным ä и низким мягконебным *а*—в горизонтальном направлении значительно меньше расстояния между верхним твердонебным i и верхним мягконебным u, немецкие и некоторые французские фонетики рисуют схему гласных в виде треугольника. Но так как всё-таки *а* и *ä* отделены некоторым, хоть, правда, и незначительным расстоянием, мы наиболее точно отражающей соотношения между артикуляциями отдельных гласных считаем схемы в форме трапеции с узким нижним и широким верхним основаниями.

Удачно пытается примирить треугольную и четыреугольную схему классификации гласных проф. Богородицкий (Лекции по общему языковедению, [2] 1915, стр. 44 и сл.). Достигает этого он тем, что, во-первых, *а* помещает в средненебном ряду, во-вторых, каждую вертикальную графу для более точного обозначения артикуляционных зон разбивает на две части и, таким образом, получает таблицу, согласованную с таблицей в виде треугольника. Для наглядности привожу ее.

	Передние		Средние		Задние	
Верхние	i		ы			у
Средние		э			о	
Нижние				а		

На этой таблице пропущено еще *ä*. Если у нас хватило бы смелости отнести его к левой половине

нижней рубрики средненебного ряда, таблица Богородицкого приняла бы форму, примиряющую четыреугольную схему не с треугольной, а с трапецоидальной.

Теперь мы переходим к обзору согласных звуков.

Согласные звуки.

С акустической стороны значительную часть слухового впечатления в согласном звуке составляет шум. Физическая причина шумов заключается в непериодичности колебаний тела, производящего звук. Физиологически же этот шум обусловливается тем, что органы речи (язык, губы и зубы) ставят преграды голосу или шопоту, выходящему из легких.

Таким образом, характерной частью согласного шумного звука является шум, к которому иногда может присоединяться звук голоса. В зависимости от того, участвует или не участвует голос в произношении звука, мы все шумные согласные делим на звонкие и глухие. Согласные, производимые одной и той же преградой и одинакового рода преградой, но отличающиеся друг от друга лишь по отношению к участию голоса в их производстве, являются сходными звуками. Такими парами сходных звуков будут г, к; ж, ш; д, т; б, п; в, ф, з, с.

Классифицируются согласные по роду и по месту преграды.

По роду преграды согласные звуки мы делим на взрывные и длительные.

Первые получаются в том случае, если условием производства шума является затвор, который временно преграждает движение току воздуха, выходящему из легких.

Скопившись за преградой, он с силой раскрывает ее, и результатом является акустическое впечатление взрыва.

Взрывными согласными в русском языке являются к, г (=g), д, т, б, п.

Длительные или фрикативные согласные (от латинск. глагола fricare—тереть) получаются в том случае, если преграда является не сплошной, но остается для тока

воздуха узкая щель или теснина; проходя ее, воздушный ток и вызывает тренье; результатом этого трения является акустическое впечатление длительного звука.

К длительным согласным относятся г (=h), х; ж, ш; з, ɛ; в, ф.

Из слияния некоторых взрывных с некоторыми из длительных согласных получается группа так называемых аффрикат или слитных согласных: глухая аффриката ц (=т͡с), звонкая д͡з (существовала в некоторых диалектах старо-словянского языка, теперь существует в части болгарск. говоров, в украинск. и польском), глухая ч (=т͡ш), звонкая д͡ж, немецк. pf. (Pferd).

По месту преграды мы раличаем, во-первых задненебные: к (взрывной глухой), г=лат. g (взрывной звонкий), х (длительный глухой) и г=латинскому h (длительный звонкий)

Эти звуки производятся поднятием спинки языка к задней части неба (к мягкому небу), т.-е. так-называемым дорсальным положением языка.

Эти звуки неправильно называются иногда в школьных грамматиках гортанными.

Гортанные звуки также существуют, но они производятся при совершенно иных физиологических условиях. Так, гортанным фрикативным глухим является крепкий приступ или придыхание перед начальным гласным в нем. яз,; гортанный фрикативный звонкий существовал в др.—инд. яз. и назывался visarga.

В некоторых из не-неиндоевроп. языков (в арабском и грузинском) существует и гортанный взрывной. который производится внезапным раскрытием сомкнувшихся голосовых связок. При производстве гортанных звуков язык остается в нормальном положении и не поднимается к мягкому небу.

Следующую группу согласных составляют согласные средненебные к, г, х, образуемые поднятием средней части спинки языка к среднему небу. Такие средненебные к, г, х, которые в лингвистике обозначаются

---

*) Некоторые лингвисты аффрикаты называют согласными дифтонгами.

через k͡, g, x, слышатся перед гласными передненёбными *е, и*; русск. кипи, гибнуть, хитрый.

Третью группу согласных представляют те согласные, которые образуются прикосновением языка к переднему или твердому небу.

Сюда относятся длительный звонкий *ж*, длительный глухой *ш*, аффриката *ч*, *д͡ж* (известна в итал., рум. укр., англ. и др.), и фрикативн. j (в нем. jeder,) который считается согласным звуком вследствие ясно различаемого в нем шума.

Следующим этапом в передвижении преграды, образуемой языком, являются верхние зубы.

В этом месте образуются согласные взрывные *д*, *т*, длительные *з*, *с* и аффрикаты *д͡з* и *ц*.

Кроме перечисленных передненёбных и зубных согласных, в др.—и существовали еще церебральные; так называются передненёбные согласные, которые производятся кончиком языка, несколько отогнутым назад. Последнюю группу согласных образуют губные согласные *б*, *п*, *в*, *ф*. Первые два звука являются собственно-губными или билабиальными (от лат. слова bilabiales—двугубные); вторые два—губозубными, т. к. они образуются при прикосновении верхних зубов к нижней губе (labiodentales).

В украинском и английском языках существует, однако, и губогубное *в*, которое образуется прикосновением верхней и нижней губ: малорусск. вовк англ. Wild, которое по-русски не совсем точно передается через Уайльд.

От перечисленных видов шумных согласных отличаются согласные сонорные *л*, *р*, *м*, *н*, характерной чертой которых является меньшая степень шумности и большая степень гласности.

В отличие от шумных согласных характерный шум резонирующих полостей рта при производстве сонорных легче улавливается слухом. Как мы увидим дальше, различия между оттенками *л*, затем между *м* и разновидностями *н* стоят в связи с различием высоты тона резонирующих полостей.

По месту же образования эти сонорные определяются следующим образом: русское *р* является переднеиебным или зубным; характерную часть русскаго *р* составляют раскаты, которые производятся частым дрожанием кончика языка—так-называемым барабанением. Во франц. яз. существует также р задненебное (r grasseyè); это картавое *р* слышится также и в языке образованных немцев; *л* образуется прикосновением языка к верхним зубам или к переднему небу, при чем по обеим сторонам языка, а чаще, с одной стороны, образуется щель для прохода тока воздуха.

Различные оттенки л (твердое или велярное русское л и близкое к нему англ. *l*, затем, французское или немецкое среднее l, встречающееся, между прочим, и в произношении украинских женщин, наконец, мягкое русск. ль) обусловливаются различием высоты тона резонирующей полости рта *).

Сонорный *н* может быть зубным, передненебным, средненебным и задненебным, *м*—звук губной.

И здесь также при постепенном переходе от *м* к *н* зубному, от последнего к *н* передненебному и т. д. характерный шум резонирующей полости рта повышается вследствие ее укорочения (Томсон, Общее языковедение 2, стр. 209). Этим же различием высоты тона резонирующей полости при *м* и *н* объясняется в Мариинск. евангелии преобладание случаев постановки ъ вместо ъ посли *н* над количеством обратных написаний, на что мне уже приходилось указывать в своей статье об этом памятнике (Извест. отдел. русск. яз. и слов. Росс. Акад. Н. т., XXIII, кн. 2-я, стр. 133). Понятие сонорности также является относительным. Из шумных согласных к сонорным ближе *в* с ясно различаемым характерным шумом, более низким даже, чем у *л* и *м*, в чем можно убедиться, произнося эти сонорные поочередно тотчас-же после *в*. По причине большей степени сонорности *в* может являться и в качестве слогового. Современные болгарск. *цъвт*, сербск. цвтјети Шахматов

*) По акустическому впечатлению сонорные р, л называются также плавными.

объяснял из *цвьт*—через посредство цвт (т.-е. с *в* слоговым) (см. Изв. отд. русск. яз. и слов. Росс. Акад. Н. т. VIII, кн. 2-я, стр. 325 и сл.). Последние два звука *н* и *м* по участию в их производстве резонирующей полости носа называются также носовыми. В связи с этим нам нужно сказать об участии мягкаго неба в производстве звуков. При произношении чистых гласных и всех согласных за исключением *м*, *н*, мягкое небо вместе с маленьким язычком поднимается и, прилегая к задней стенке зева, закрывает вход току воздуха в носовую полость, которая состоит из двух половин.

При произношении же носовых звуков *м*, *н* и назалированных гласных (т.-е. гласных, произносимых в нос, как о назалированное во франц. *on*, е назалированное во франц. in) мягкое небо опускается и открывает доступ воздуху в носовую полость.

Совокупность главнейших звуков человеческой речи можно наглядно представить в следующей таблице, которая является некоторым видоизменением таблицы, помещенной в „Лекциях по общему языковедению“ проф. Богородицкого (2-е изд., стр. 56)

Гласные.	Согласные.		
	Звонкие.		Глухие.
задн. ряда у, о, а	Плавные. Носовые.	Остальные.	
средн. ряда ы, *ə* *)	л, р м, н	Задненебн. г=g, h	к, х
передн. ряда і, е		Среднен. $\widehat{\text{г}}$	$\widehat{\text{к}}$, $\widehat{\text{х}}$
передн. р. лабиализ. ü, ö, ä		Переднен. ж, $\widehat{\text{дж}}$, j	ш, ч
		Зубные д, з, $\widehat{\text{дз}}$,	т, с, ц,
		греч. *ϑ*, *ð*, англ. th	
		Губные б, в	п, ф
Сонорные.		Шумные.	

*) Средний средненебный *ə* слышался также и в и.-евр. праяз., в котором он получался в результате сокращения долгих неударенных гласных и произносился вполголоса. В лингвистике этот звук носит название „шва“.

Библиографические указания. Лучшими пособиями для желающих подробнее ознакомиться с физиологией звуков речи являются „Общее языковедение“ (глава IV) проф. А. И. Томсона, затем „Лекции по общему языковедению“ и некоторые другие работы проф. Богородицкого. Немало сведений по вопросам общей фонетики содержит также книга Ол. Брока „Очерк физиологии славянской речи“ (Энциклопедия славянск. филолог., вып. 5), затем проф. Щербы „Русские гласные в качественном и количественном отношениях“. Сжатое, но стройное изложение фонетики дал проф. Д. Н. Ушаков в своей книге „Краткое введение в науку о языке“, 5-е изд., 1922. Очень тщательное, местами интересное только для узкого специалиста описание говорильного аппарата и приборов, которыми пользуется экспериментальная фонетика, для исследования звуков с анатомо-физиологич. и физико-акустической стороны дано в труде проф. Богородицкого „Курс экспериментальной фонетики применительно к литературн. русскому произношению“ (3 выпуска, Казань, 1922); из трудов на немецком языке следует назвать руководство Sievers'a (Grundzüde der Phonetik, 5-e, Auflage, 1901) Vietor'a „Elemente der Phonelik“ 2, 1915), Iespersen'a „Lehrbuch der Phonetik“.

ГЛАВА IV.

Сочетания звуков.

Рассмотренные в предшествующей главе звуки человеческой речи являются результатом абстракции. Во-первых, они должны быть выделены с помощью анализа из целых слов, при чем выделение это осложняется переходными звуками, развивающимися между установочными звуками. Во-вторых, те звуки, которые мы рассмотрели, представляют лишь своего рода обобщения, получившиеся в результате отделения несходных признаков, обусловленных в различных звукосочетаниях влиянием различных соседних звуков.

Итак, мы видим, что звук в отдельном произношении отличается от звука в звукосочетаниях.

Рассмотрением этих отличий мы и займемся в этой главе.

При произношении отдельного звука органы речи, выполнив свою работу, возвращаются в состояние покоя; этого нет при произношении звуков в звукосочетаниях; органы продолжают непрерывно звучать, постепенно переходя к артикулированию следующего звука, в результате чего и развиваются промежуточные или переходные звуки (gleitlaute). Так, напр., произношение сочетания *ai* представляет, в действительности, непрерывную градацию переходов от широкого гласного *a* к узкому *i*, которую можно наглядно изобразить как *a... ä... e... i...* (точками... между буквами я обозначаю те промежуточные между обозначенными гласными звуки, которые в фонетике обычно не устанавливаются и для которых нет соответствующих знаков или букв).

Виды переходных звуков обусловливаются соседними звуками. Но гораздо важнее те изменения, которые вносятся в стихию самого звука вследствие влияния тех же соседних звуков, в результате чего и создаются различные оттенки произношения одного и того же звука в различных звукосочетаниях, отклоняющие его от звукового типа, считаемого нами нормальным.

Так, напр., *к* в куст и *к* в кисть отличаются друг от друга как в анатомо-физиологическом (в первом случае *к* является задненебным, во втором—средненебным), так и в акустическом (в слове куст оно значительно ниже по тону, чем *к* в кисть). Происходит это потому, что при произношении звука в звукосочетанию начинается психологическое воздействие представлении следующих звуков на произношение данного звука; конечно же, в приведенных примерах артикуляция губ-соответствующая *у* и *и* начинается одновременно с произношением *к*. Таким образом, мы можем наблюдение проф. Богородицкого о большей продолжительности артикуляции губ. сравнительно с временем звучания голосовых связок при отдельном произношении гласного дополнить указанием на то, что и в звукосочетаниях также действие губ., (соответствующее данному гласному), начинаясь еще в момент произношения предшествующего согласного, продолжительнее действия гортани.

Гласные звуки обычно подвергаются влиянию не не только следующего, но и предшествующего звуков. С акустической стороны эти различные оттенки гласных заключаются в различии высоты характерного тона. Если возьмем три слова *бабу*, *рад и снасть*, в них высота *а*, в результате двустороннего влияния различных соседних звуков, окажется различной; самый низкий тон имеет *а* в *бабу*, самый высокий—в слове *снасть*.

Но ни переходных звуков, ни оттенков произношения мы обычно не замечаем, так как этому препятствуют образующиеся в нашей психике в результате абстракции общие, типические представления, которые и обусловливают психологическую ошибку, заставляя нас не замечать отклонений от нормального произношения. Этим общим звуковым представлениям—типам Бодуэн-

де-Куртенэ (Об отношении русского письма к русскому языку, С.П.-б. 1912), а вслед за ним его ученик Щерба (Русские гласные в качественном и количественном отношениях С.П.-б. 1912) дают название фонем.

Психологической причиной возникновения фонем является ассоциирование с различием в смысловой стороне слов. Так, напр., фонемами данного языка будут не только общие представления отдельных звуков, но также, напр., различие в твердости и мягкости произношения согласных, если с ним может связываться различие в значении (срв., напр., *т* и *т*, в словах *бит* и *бит'*, т.-е. *битъ*). Различными фонемами стали во французском языке различные оттенки произношения *е*, ассоциирующиеся с разницей в смысле слов, напр., *dé* и *dais*. В тех украинских говорах, в которых различаются *і* из *е* и *і* из *о* в закрытых слогах, фонемами являются различные степени мягкости согласного перед *і*, благодаря чему и возможным становится отличать *ніс* из *нос* от *ніс* из *нёс*: во втором слове *н* чуть мягче.

Проф. Томсон возражает, однако, против учения о фонеме и ее определения, как представления типического произношения (Отзыв о сочин. Л. В. Щербы „Русские гласные", отд. отт. из „Отч. о 15-м присуждении премии митроп. Макария", стр. 45—46). Нельзя считать, по мнению Томсона, типическим какой-нибудь один оттенок того или иного гласного, так как при одном условии один оттенок является нормальным, при других—другой. „Более низкий оттенок *а* в *бабу* так же типичен, как и более высокий в *стать*".

Но мы все-таки считаем психологически правдоподобным факт образования в нашей психике фонем, поскольку именно не искушенный в лингвистике человек не замечает этих оттенков вследствие антиципации их одним общим имеющимся у него представлением; по той же причине при перенятии звуков чужого языка, отсутствующих в данном языке, они заменяются бессознательно и незаметно для говорящего другими, наиболее похожими. Такая подстановка называется субституцией звуков (напр., брошюра соотв. франц. *brochure*).

Не совсем выясненным кажется нам лишь понятие типичности произношения.

Наиболее приемлемым, по нашему мнению, определением фонемы является то, которое так горячо старался отвергнуть Щерба, а именно, определение ее как общего представления. Первым основанием для объединения разнообразных оттенков произношения данного звука в одну фонему является отсутствие связи с семасиологическими различиями у этих оттенков, во-вторых, близость высоты характерных тонов оттенков к высоте тона фонемы, которая представителями данной языковой группы и воспринимается как типичная высота. А типичной и является, в сущности, средняя между двумя крайними пределами колебаний высота, недалекая, может-быть, также от высоты характерного тона данного звука при отдельном произношении; отклонения от нее в ту или другую сторону не так уж велики, конечно, и потому не замечаются слухом, подобно тому, как не замечается разница в несколько колебаний в ту или другую сторону от тех чисел колебаний, которые воспринимаются как ноты гаммы и полутоны, и являются такими же типичными представлениями в душе поющего, которые могут вызываться в сознании без помощи камертона. Правда, разница в числе колебаний чистых музыкальных тонов, остающаяся незамеченной нашим вниманием, значительно меньше улавливаемой вниманием разницы в числе колебаний, соответствующих различным оттенкам данной фонемы, но это обстоятельство объясняется тем, что в последнем случае не так легко может быть выделено различие в высоте, во-первых, вследствие кратковременности произношения данного звука в звукосочетании, во-вторых, вследствие того, что внимание в данном случае отвлекается соседними звуками.

Слог.

Из отдельных звуков составляются слоги. Слогом можно назвать более крупные фонетические единицы, которые определяются какими-то разделами между ними. Слогоразделы бывают двух родов. Они могут, во-пер-

вых, представлять произвольную паузу или же только произвольное ослабление тока воздуха. Так, напр., гласный *о* мы можем по нашей воле паузами или же ослаблениями тока воздуха разделить на несколько выдыхательных толчков. Но обычно в речи слова разделяются на слоги, независимо от нашей воли, менее полнозвучными звуками. Так, напр., менее полнозвучное *н* разделяет слово *оно* на два слога. Более же полнозвучный звук является носителем слога или проще слоговым звуком. В роли таких слоговых или слогообразующих звуков являются прежде всего гласные, а затем в отдельных языках еще и сонорные *r*, *l*, *n*. Напр., в чешском vlk роль слогового играет l, в сербском трг— сонорное *р*.

Если слог состоит из двух гласных, сочетание этих гласных будет называться дифтонгом: *ай* *ау*, я (=*ia*). Обычно слоговым является в дифтонгах более полнозвучный гласный, напр., *а* в трех приведенных дифтонгах. Но существуют в некоторых языках такие дифтонги, в которых с большей силой произносится и потому является и слоговым—менее полнозвучный гласный. Такие дифтонги называются ненастоящими.

Неслоговые звуки обозначают дужкой под буквою.

Ударение.

Сочетая слоги в слова, мы обычно выделяем один из слогов или большей силой звука или же более высоким тоном. Такое выделение одного слога из всех слогов слова называется ударением. В зависимости от того, выделяется ли слог силой звука или-же высотой тона, мы различаем экспираторное или выдыхательное и музыкальное ударения. Первое из них существует в нашем, в германских языках и других, музыкальное преобладало в древне-индийском и древне-греческом. В некоторых языках ударение смешанное (в сербском, литовском).

В многосложном слове, кроме главного, есть еще побочное ударение.

В некоторых языках ударение прикрепляется к какому-нибудь одному определенному слогу в слове, напр., во французском (всегда на последнем слоге), в польском (на предпоследнем), в чешском (на первом от начала слоге). Если же в языке ударение может приходиться на различных слогах слова (напр., в русском), такую особенность языка называют свободным ударением.

Из ряда слов, составляющих предложение, теми-же способами (силой голоса или высотой) выделяется одно какое-нибудь слово. Это выделение слова из предложения называется теперь психическим ударением; раньше его обычно называли логическим ударением.

Ритм.

В I главе мы указали на важность ритма в создании языка. С ритмическими движениями работы мы старались связать ритмически повторяющиеся звуки речи. Но если даже мы не совершаем никакой работы, а только говорим или поем, мы работу наших органов речи также бессознательно стараемся подчинить ритму. Как заметил Г. Э. Мюллер (Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsverlaufes, I ч., Leipzig, 1911, Zeitschrift für Psychologie. Ergänzungsband 5), произнося или заучивая двусложные слова, мы невольно впадаем в двусложный, хореический или ямбический ритм, и если мы впали уже в определенный ритм, отделаться от него бывает очень трудно. Но в действительности наши слова состоят из различного количества слогов, и ритмичность речи достигается тем, что мы слоги, группирующиеся вокруг ударяемого слога, являющегося носителем такта, обычно произносим с одинаковой продолжительностью, и поэтому слова многосложные в большей степени сокращаются, чем слова с меньшим количеством слогов. Так, напр., под влиянием чувства ритма мы на такие такты разбиваем предложение: о́н расска | за́л нам | тро́гательную ис | то́рию. Таким образом, ритмичность речи является аналогичной ритмичности в музыке, где такты могут содержать различное количество слогов, продолжительность которых и ме-

няется в зависимости от этого числа таким образом, что в сумме дают один и тот же промежуток времени—

$\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$ или С.

Вопрос об обучении грамоте и письму.

Усвоение учения о звукосочетании поможет нам разобраться в вопросах методики грамоты. Методы обучения грамоте делятся, как известно, на аналитические, синтетические и аналитико - синтетические. Я не буду останавливаться на их обзоре, каковой можно найти в любой методике родного языка (напр., у Афанасьева „Методика родного языка в трудовой школе", 1923); перечислю только более популярные современные методы, указав на то, какими научными соображениями оправдывается каждый из них. Начну с метода В. Флерова. [1])

Так как самым трудным для детей является процесс сочетания букв в слоги, Флеров самому обучению грамоте предпосылает предварительные занятия, заключающиеся в разложении по слуху слов на слоги и слогов на звуки и обратному сложению получившихся единиц, каковое после этого является уже очень легким. Теперь нетрудно будет приступить и к чтению разложенных слов, руководясь правилом: читай, как говоришь. Обычное затруднение, имеющее место при букво-и звукослагательных методах (бэ—а будет *б—а*), устраняется у Флерова тем, что у учащихся уже есть то звукосочетание, которое должно получиться в результате сложения: это тот слог или то слово, с разложения которых они и начали свои занятия. Кроме того, Флеров считает важной последовательность при обучении чтению: нужно начинать с обратных слогов—слов (ах, ум, ус) и после этого переходить к прямым слогам, сначала с длительными согласными (му—ха), а затем с взрывными (ба—ба).

---

[1]) Новый способ обучения слиянию звуков при обучении грамоте, Москва, 1915. Подробный план занятий по обучению грамоте, Москва, 1915.

Причина трудности при слиянии звуков в слоги, как это выяснилось из данной главы, заключается в различии произношения звука в сочетании и в отдельности (ба не равно бэ—а).

Иным путем пытается устранить эту трудность М. И. Тимофеев (Естественный звуковой метод, Одесса, 1908. Значение и применение звуковых таблиц, 1913. План уроков обучения грамоте по естественному методу в добукварный период, 1917). Заметив, что в звукосочетании органы в момент произношения согласного уже принимают положение, соответствующее произношению следующего гласного, Тимофеев и дает совет при произношении, напр., *м* в *му* привести губы в положение для произнесения *у*, т.-е. вытянуть вперед. Это—удачный прием, зато недостатком Тимофеевского метода следует считать обременение памяти учеников не нужными для такого раннего возраста сведениями о физиологической и акустической стороне звуков.

Аналитические методы, казалось, уже отжившие свой век, в последнее время возродились в Америке.

В духе этого американского способа „целых образов", популяризуемого в книге Янжул „Американская школа", у нас составлен букварь Фортунатовой и Шлегер „Первые шаги". Вот в кратких чертах образец урока по этому методу. Начав с детьми со слова *Маша,* переходят к слову *Саша*, заменив две первые буквы другими двумя, но потом постепенно наводят детей на мысль, что достаточно заменить лишь одну первую букву *М* буквой *С*. Так от усвоения целых образов слов переходят к усвоению букв. Американский метод также имеет свои основания. Для грамотного человека вполне очевидно, что предложения состоят из слов, слова же—из звуков, но этой способностью анализа еще не обладает неграмотный человек. Она приобретается постепенно в результате ряда психических процессов. И вот сторонники аналитических методов и заменяют процесс сочетания процессом анализа, кажущимся им более легким.

По словам Шапошникова (Живые звуки 1923, стр. 10), умение „сливать" звуки может притти только

после того, как закончится процесс абстрагирования звуков. Нужно, говорит Шапошников в другом месте (стр. 17), привести ученика к тому положению, к какому пришел составитель алфавита в результате произведенного им анализа речи.

Изложив более популярные современные методы, мы не считаем нужным предпочесть какой-нибудь один из них. У каждого есть свои положительные стороны и свои недостатки. Поэтому нельзя связывать преподавателя одним определенным методом; каждому предоставляется свобода выбора, комбинации и дальнейшего усовершенствования, подобно тому как каждый из изложенных современных методов представляет переработку более старых приемов.

Удачным приемом считаю, между прочим, в букварях Вахтерова помещение одного и того же слова на разных местах страницы. Сложив один раз звуки в слова, ученик может дальше упрочить его в памяти, главным образом, его зрительное представление, отыскивая данное слово на других местах страницы.

В дополнение к сказанному о фонемах следует заметить, что у грамотных людей дело осложняется создающимися у них графемами, т.-е. общими представлениями напечатанных или написанных букв, которые играют важную роль в объединении различных оттенков произношения одного звука или даже двух звуков в одно общее представление, ассоциирующееся с этой буквой. Эти графемы приводят их часто к психологическим ошибкам: большинство грамотных людей, обладая в сущности правильными слуховыми и двигательными представлениями—фонемами, в тех случаях, где произношение расходится с правописанием, обычно думает, что они произносят так, как пишут; не замечают также и того, что отдельной графеме соответствует иногда две фонемы и наоборот. Так, напр., многие удивятся, если им скажут, что слово *жизнь* они произносят в действительность как *жызь* или что *е* обозначает не после согласных дифтонг *ie*: есть и т. п. Вследствие того, что в результате совершившихся процессов наше письмо перестало быть фонетическим,

отчасти же вследствие недостатков первоначальной кириллицы и ее позднейших изменений,—появились приведенные примеры непоследовательности в обозначении звуковой стороны нашего языка, которые и остаются для многих незамеченными. Не замечают, напр., что буква *я* в слове *мясо* обозначает то же, что и *а* в слове *час*, а именно, фонему *а* с мягкостью предшествующего согласного, обозначение которой в первом случае входит в букву *я*, во втором случае отсутствует. По той же причине чтение и понимание фонетических записей для непосвященных является очень затруднительным.

Наше правописание, как старое, так и новое может приводить даже к ложным грамматическим представлениям. Так, напр., в учебниках по грамматике приводятся под разными образцами склонения слова твердого и мягкого различия (*конъ* и *конь*, по старому правописанию *конъ* и *конь*), но в действительности такого различия не существует; возникло оно на основании зрительного представления, т.-е. в результате того же несоответствия между графемами и фонемами. Буквы *я*, *ю* в окончаниях *коня*, *коню* обозначают ведь гласные *а*, *у* с мягкостью предшествующего согласного. Но если мы применим другой, фонетический способ обозначения палатальности предшествующего согласного, тогда мы увидим, что склонение слов кон и кон' (ко́н—а, кон'—а́, ко́н—у, кон'—у и т. д.) принадлежит к одному и тому же типу. Вот по этому проф. Будде (Вопросы методологии русского языкознания, стр. 16 и сл.) важным требованием методологии преподавания считает сообщение учащимся сведений о разнице между нашим произношением и письмом.

ГЛАВА V

Звуковые изменения и их причины.

Итак, мы ознакомились с внешней, звуковой стороной языка. Теперь мы переходим к обзору тех изменений, которым подвергается эта сторона языка.

Язык, как мы уже неоднократно говорили, представляет нераздельную связь внешней звуковой стороны с элементами значения.

Но как внешняя, так и внутренняя стороны находятся в состоянии вечного развития и изменения, при чем изменения и внешней и внутренней стороны в большинстве случаев независимы друг от друга.

Изменения первого рода изучает та-же общая фонетика, изменения второго рода составляют компетенцию семасиологии.

Но среди изменений звуковой стороны мы различаем, однако, еще морфологические изменения или так называемые новообразования по аналогии, которые являются результатом ассоциации известных звуковых формальных единиц с элементами значения. Рассмотрение подобного рода изменений должно занять место в главе о грамматике как известном отделе семасиологии.

Предметом же настоящей главы явится лишь изучение изменений чисто фонетического характера.

Но эти изменения происходят, однако, также психологическим путем.

Прежние языковеды, Штейнталь и Гюйо, отделяли фонетические изменения от психологических и объясняли первые чисто физиологическим путем. Почти на

той-же точке зрения остается Пауль, который главной причиной всех фонетических изменений считает стремление органов речи к более удобному для них произношению.

Он полагает, что о большей части изменений можно сказать, что „эта группа является более удобной, чем та“ (Principien, 1880 г., стр. 49).

Но, однако, в последнее время все прочнее утверждается в языкознании тенденция объяснять и чисто фонетические изменения не физиологическими, а психологическими причинами. Мы также присоединяемся к этому мнению, хотя в дальнейшем постараемся показать, что психологические причины, лежащие в основании фонетических изменений, отличаются от таковых причин, обусловливающих морфологические изменения или так-называемые новообразования по аналогии. Все главные виды фонетических изменений (ассимиляция, диссимиляция и друг.), как мы увидим дальше, обусловливаются тем же ассоциационным процессом, с той, однако, разницей, что ассоциируются друг с другом в данном случае лишь одни звуковые представления, не вступая в ассоциацию с элементами значения.

Все звуковые изменения, в свою очередь, подразделяются некоторыми лингвистами на „обусловленные“ или „комбинационные“, которые обусловлены теми звуками, с которыми сочетается данный звук, и „спонтанеические“, которые происходят в звуках независимо от влияния соседних звуков.

Против этого деления восстает проф. Томсон, отрицающий, вообще, существование спонтанеических изменений (Общее языковед., II изд., стр. 246).

Неизвестность причин изменения не означает еще, по мнению проф. Томсона, что причины данного изменения не будут найдены. Следует согласиться с мнением проф. Томсона о том, что все фонетические изменения обусловлены,—обусловлены прежде всего психологическими причинами, но эти изменения звуков в некоторых случаях, однако, могут быть независимы от влияния соседних звуков. Мы признаем существование

„спонтанеических“ изменений в том случае, если это название имеет целью подчеркнуть лишь независимость звуковых изменений от влияния соседних звуков.

Прежде чем перейти к обзору названных общих видов фонетических изменений и их дальнейшему подразделению, мы укажем на общую причину этих изменений.

Общей причиной изменений звуков является разнообразие или простор артикуляции, о чем мы говорили в начале предыдущей главы.

Мы уже знаем о том, что обозначаемые различными алфавитами звуки человеческой речи представляют своего рода абстракцию; в действительности же человеческая речь состоит из бесконечного ряда звуков, отличающихся друг от друга на бексонечно-малую величину.

Указать же можно только на устойчивые пункты, между которыми находятся различные ступени промежуточных звуков.

Но хотя разнообразие человеческой речи дает простор для звуковых изменений, эти изменения, однако, подчиняются известной закономерности, известному „звуковому закону“, значение которого определено Паулем в его „Principien“; определение это принято в трудах по общему языковедению На выяснении понятия „звуковой закон“ мы остановимся, однако, в конце этой главы — после того, как мы познакомимся с некоторыми примерами из жизни индо-европейских и словянских языков.

Все случаи обусловленных или комбинационных изменений могут быть сведены к двум главным типам — процессам ассимиляции и диссимиляции, которые в свою очередь, подразделяются на несколько видов.

Процесс ассимиляции и диссимиляции, во-первых, может быть полным и неполным, и, во-вторых, мы различаем случаи ассимиляции и диссимиляции соседних и несоседних звуков.

Ассимиляция и диссимиляция соседних звуков представляет процесс постепенного превращения одного звука

в другой, которое в немецкой науке носит название Lautwandel и которое следует отличать от замены звука (Lautwechsel), при которой один звук сразу, как-бы „скачком“ заменяется другим.

Ассимиляция соседних звуков состоит в полном или частичном уподоблении одного звука другому соседнему звуку — предыдущему или последующему. Если последующий звук уподобляется предыдущему, тогда ассимиляция называется прогрессивной. Если уподобляющим является последующий звук, тогда ассимиляция носит название регрессивной.

В качестве примера полной прогрессивной ассимиляции можно указать на наблюдаемый в старо-словянских памятниках переход окончаний родит. пад. ед. ч. сложных прилагательн. — *аего* в — *аго*, откуда после стяжения явилась форма на — аго (добраго).

Примеры полной регрессивной ассимиляции можно заимствовать из латинского языка, в котором обычно последний согласный звук приставки уподобляется начальному звуку того слова, с которым слагается приставка: *adprobare* переходит в *approbare*; *con-mittere* — в *com-mittere*.

При частичной ассимиляция звук не уподобляется совершенно наводящему звуку; уподобление состоит или в передвижении артикуляции уподобляемого звука к тому месту, где артикулируется уподобляющий звук или в переходе глухого в звонкий под влиянием смежного звонкого и обратно.

Примером частичной прогрессивной ассимиляции может служить переход *о* в *е* после j и смягченных согласных, совершившийся в прасловянскую эпоху *полјо* > *поље*; срв. сохранившееся окончание о в твердом склонении средн. р. *село*; форма твор. ед. ч. в прасловянск. языке *маж'омь* *) > *мужемь*; сравни твердое окончание *дубом* и др. Процессом частичной прогрессивной ассимиляции объясняется переход звонкого *ж* в глухое *ш* после *р* в приставке *prze* — в польском языке.

---

*) ' — значок мягкости; знаком > в лингвистике обозначают переход одного явления в другое, ą по типографским условиям обозначает о назализированное.

Как на довольно редкий пример уподобления последующего глухого предыдущему звонкому следует указать на малорусск. *бджола* из древне-русского *бчела*; литературное русское *пчела* представляет результат обратной, т.-е. регрессивной ассимиляции, о чем смотри ниже.

Примеры регрессивной частичной ассимиляции чаще встречаются в современных языках. Вследствие регрессивной частичной ассимиляции звонкий перешел в глухой перед следующим глухим и глухой в звонкий перед звонким. Регрессивной ассимиляцией объясняется появление так называемых сомнительных согласных звуков: *кружка* стало звучать *крушка*, *сделать* перешло в *зделать*, сбор — в збор.

На основании регрессивной ассимиляции приставки из —, воз —, низ —, раз — перед глухими согласными перешли в ис —, вос —, нис —, рас —; написание *с* в этих приставках разрешается даже принятой в русском языке орфографией, хотя в других случаях, обыкновенно, наше правописание основывается не на фонетическом, а на этимологическом принципе.

В жизни языков встречаются иногда случаи взаимной ассимиляции. Образование праславянского *ē* (откуда позднейшее *ѣ*) из индо-европейск. дифтонга *ai*, *oi* явилось в результате взаимной ассимиляции *a*, *o* и *i* в этих дифтонгах.

Диссимиляция или расподобление соседних звуков известна в сравнительно небольшом числе примеров. Диссимиляцией следует объяснять переход инфинитивов *вед-ти*, *плет-ти* в вести, плес-ти.

К частичной ассимиляции и диссимиляции могут быть сведены самые различные виды обусловленных изменений, известные из истории языка и на первый взгляд ничего общего с процессами ассимиляции и диссимиляции не имеющие. Так напр., совершившееся в праславянском языке смягчение задненебных согласных г, к, х, т.-е. переход их в передненебные ж, ч, ш перед следующими передненебными гласными е, и, ь, ѧ (известное также и др. — индийск. языку) представляет разновидность частичной регрессивной ассимиляции. Так,

явились формы, как *боже*, *пророческий*, *душевный* из *боге*, *пророкеский**) *духевъный*.

Иногда действие ассимиляции соединяется с действием диссимиляции. Так, напр., известный в русском и польском языках переход палатального *е* в задненёбное *о* после смягченных и перед твердыми согласными (жен > жон) является по отношению к предыдущему смягченному согласному диссимиляцией, по отношению же к следующему твердому согласному этот переход *е* в *о* будет как бы частичной ассимиляцией; здесь оба процесса взаимно поддерживают друг друга.

От ассимиляции и диссимиляции соседних звуков мы отличаем ассимиляцию и диссимиляцию несоседних звуков, которая большею частью представляет собою не постепенное превращение (Lautwandel), а замену звука (Lautwechsel).

Случаи ассимиляции несоседних звуков также, как и ассимиляции соседних звуков, различаются по направлению ее действия, т.-е. подразделяются на прогрессивную и регрессивную ассимиляцию.

Полной ассимиляции и диссимиляции подобного рода обычно подвергаются гласные и плавные.

В качестве примеров полной регрессивной ассимиляции несоседних звуков можно привести изменение *топеръ* в *теперъ*, *робенок* в *ребенок*, *попел* в *пепел* в русск. языке, затем *хазяїн*, *гарячий*, *багатий*, *гаразд* < *хозяїн*, *горячий*, *богатий* в украинском языке.

Примером ассимиляции несоседних звуков (прогрессивной) может служить характерная для урало-алтайской семьи языков (угро-финских, тюркских, монгольских языков) „гармония гласных“, состоящая в том, что гласный суффикса частично или полностью уподобляется гласному корня: *ат-лар* — лошади, но *копек-лер* — собаки (лар,-лер — суффикс множ. ч.); *яз-мак* — писать, но *бекле-мек* — ждать (*мак*,-*мек* — суфф. неопр. накл.).

Вследствие диссимиляции несоседних звуков явились слова *перепел* из первоначального звукоподражательного *пелепел*, *февраль* из феврарь и др.

---

*) Точнее из *пророкьскъіи*.

По той же причине явилось народное *ярмонка* из *ярмарка*.

Пример частичной ассимиляции несоседних звуков можно видеть в слове *пузырь* из *пусырь**) (это с в праслов. яз. могло переходить также в х: сравн. малор. *пухирь-пух-нуть* из корня peus обще-русск.); затем в влр. народном *чижало* из *тяжело*.

Тот же процесс ассимиляции, соединенной с диссимиляцией, вызвал переход *ш* в *ж* в словах *манжета* (срв. нем. Manschette) и *транжирить* из франц. trancher. (20)

Одинаковым на первый взгляд по результатам, но генетически отличным от рассмотренных случаев является действие диссимиляции (и ассимиляции), проявляющееся, так сказать, в статическом, а не в кинетическом состоянии. Подобного рода ассимиляция или диссимиляция заключается в том, что данный звук может сохраниться неизменным благодаря диссимилирующему (или ассимилирующему) влиянию других звуков в слове (соседних и несоседних), в то время как при других условиях данный звук подвергается изменению. Еще Мейе (Etudes sur l'etymologie et le vocabuláire du vieux-slave, стр. 178) объяснял сохранение *і* в *гусь* (вместо ожидаемого *з* из *і* средненебного) диссимилятивным влиянием *с*. Такое же объяснение Петерсон дает первоначальному *g* в зап.-слов. gvêzda. (Baltisches und Slavisches, 1916, стр. 3—4). Два интересных примера подобного „conservation dissimilatrice"; один из ирландского, другой из греческого языка (а именно, защищенность *α* от перехода в *η* благодаря диссимилятивному влиянию предшествующих *ι*, *ε* в атическом и следующего *η* в ионич.-аттическ.) приводит Зоммерфельд в — Bulletin de la société de linguistique de Paris, (т. XXIII, вып. I, 1922, стр. 15—17). Наконец, можно привести интересный пример диссимилятивного сохранения звука из украинского языка. Гласный *о* в приставке и предлоге *зо* (из первоначального *з*) и в приставке до —, часто изменяющийся (в результате аналогии) в *і* — обычно в закрытых словах:

---

*) Глухое с под влиянием следующего р перешло в звонкое з; этому переходу могла содействовать также диссимиляция с начальным п.

зірвати, зі страху, діждатися, зіходити и т. д. — сохраняется, однако, большей частью неизменным, если в следующем слоге находится *і*, зо стін, досвід, дослід. Как явление диссимиляции, оно не может, конечно, иметь всеобщее значение; сохранение *о* в указанном положении является лишь более предпочтительным, как нас в этом сможет убедить даже беглый просмотр слов, сложенных с указанными приставками в „Словаре украинского языка“ Гринченка.

Считая теоретически возможным действие ассимиляции в статическом состоянии, я сейчас, однако, не могу подыскать надежные примеры.

Одним из видов замены звуков является также метатеза или перестановка: *тарелка* вместо талерка (срв. нем. Teller), *курчав* из *кучеряв*, *ладонь* из *долонь*, и друг. Очень много примеров перестановки находим в украинском языке: *суворий*, *гамазея*, *капість*, *відмедь*, *калавур* вместо *суровый*, *магазея*, *пакость*, *медведь*, *караул*, затем в словенском: *gomila*, *potor* вместо *mogila*, *topor*. В результате той-же перестановки явилось сербское *нàмастир*, русское *крапива* из более древнего *коприва*; срв. украинск. и ст. — слов. *коприва*; другого рода метатезу в том-же слове находим в польск. *pokrzywa*. Перестановку соседних звуков мы имеем в южно-русск. *друшлак* — цедилка (из польск durszlak, которое, в свою очередь, заимствовано из нем. *Durchschlag*).

Более частой перестановке подвергаются те же плавные звуки.

Теперь скажем несколько слов о спонтанеических изменениях. Сюда, как мы говорили, относятся такие изменения, которые совершаются в звуке или в звуковом сочетании независимо от влияния соседних звуков. В качестве примера можно указать на совершившийся в прасловянскую эпоху переход *ū* (у долгого) в *ы* и на переход прасловянских назалированных гласных *о* и *е* в чистые гласные в большинстве словянских языков.

В некоторых случаях, однако, нельзя строго определить, является ли данное изменение спонтанеическим или обусловленным, так как звуковая единица, которая подвергается изменениям, может быть сама рассматри-

ваема как комбинационное сочетание, и в таком случае спонтанеическое изменение становится для нас обусловленным. Так, напр., назалированный звук *о*, существовавший в праславянском языке, можно считать комбинацией чистого гласного *о* с элементом назализации (пригнуской); тогда переход назалированного о в чистый гласный *у* (в русском, сербском, лужицком, чешск. языках) или *о* (в словенском яз.) можно объяснять как результат прогрессивной ассимиляции: вторая часть этого сочетания, т.-е. пригнуска совершенно ассимилировалась первой части—чистому гласному звуку.

Могла при этом действовать и регрессивная ассимиляция назалированного гласного следующему за ним неносовому согласному.

Теперь мы переходим к выяснению тех причин, которые лежат в основании всех перечисленных типов звуковых изменений.

Эти причины почти исключительно психологического характера. Они имеют место как при постепенных превращениях звуков, так и при замене звуков.

Укажем сначала на психологические причины регрессивной ассимиляции соседних звуков.

Казалось бы на первый взгляд, что регрессивную ассимиляцию незвонкого с звонкому д в слове *сделать* или обратно—звонкого ж глухому к в слове *ложка* следовало бы объяснять тем, что нам трудно при произношении группы двух согласных *жк* быстро перейти от звонкого к глухому или обратно—от глухого к звонкому при произношении *сд*. И в таком случае мы могли бы ожидать, что получится группа двух согласных глухих *ст* (сделать) или звонких *жг* (кружка), т.-е. прогрессивная ассимиляция; однако, более свойственной почти всем индо-европ. языкам является регрессивная ассимиляция (сд>зд, жк>шк), которая представляет результат влияния последующего согласного на предыдущий. Для объяснения этого влияния и необходимо признать, что еще до произношения предшествующего согласного в нашем сознании появляется уже образ, представление последующего звука, которое и изменяет произношение предыдущего согласного.

Регрессивная ассимиляция, как мы уже заметили, наблюдается в языках индо-европейских, т.-е, более культурных, что Вундт объясняет тем, что мышление этих народов как бы опережает речь и протекает быстрее, чем артикуляция.

Но также и для объяснения прогрессивной ассимиляции Вундт, в противоположность предшествующим исследователям, не считает нужным изменять психологический принцип. Представление только что произнесенного звука продолжает сохраняться в нашем сознании; ассоциируясь с представлением следующего звука, оно и изменяет соответствующим образом его произношение.

Чисто психологическим путем следует объяснять также и замену звуков, т.-е. ассимиляцию и диссимиляцию несоседних звуков и метатезу.

Психологическая причина всех названных видов звуковых изменений заключается в следующем: при произношении данного звука в нашем сознании появляются образы звуков не только соседних (предыдущего и последующего), но и целого ряда следующих за ними в ту и другую сторону звуков, которые, находясь в сфере бессознательного, модифицируют, однако, произносимый в данный момент звук. Эти элементы — предшествующие представления a, a_1, a_2 и последующие c, c_1, c_2, модифицирующие представление b Джемс, называет „психическими обертонами“ (Психология, 2 изд., стр. 122—126).

Наш язык нечаянно переставляет иногда звуки, слишком удаленные друг от друга; при быстрой речи нередким является такой lapsus linguae, как водачая гора вместо горячая вода и т. п. И подобного рода метатезы также объясняются влиянием психических обертонов.

Таковы в общих чертах психологические причины главных звуковых изменений.

Процессами чисто физиологического происхождения являются лишь вставка и утрата звуков.

Вставка звуков т, д между зубными з, с и переднеязычным р (*встречать* вм. всречать, сравни *сретение*; *остров*, *струя* вместо *осров*, *сруя*; срв. санскр. *sravati* —течет; украинск. *уздрів*—узрел; ст.-слов. *раздрешение*

вм. разрешение и др.) объясняются тем, что кончик языка, переходя от положения для с к положению для р, задевает верхнюю десну и производит слабое *д* или *т*.

Случаи утраты звука (напр., утрата *в* в полвтора, которое переходит в полтора, или утрата д, б перед н в прасловянском яз. гнуть гъбнуть; срв. многократный вид этого глагола —изгибать изгыбать) с физиологической точки зрения объясняются неустойчивостью промежуточной артикуляции.

Приведенные сведения о главных типах звуковых изменений и о характере их распространения могут служить нам материалом для определения понятия „звуковой закон".

Особенностью всех приведенных видов звуковых изменений является их временный и местный характер, чем звуковые законы и отличаются от всеобщих и постоянных законов естественных наук. По мысли Пауля (Principien, стр. 55), принятой и проф. Томсоном в его „Общем языковедении" (гл. V, § 6), звуковой закон указывает только, что в известное время в определенной языковой группе произошло такое-то звуковое изменение. Рассмотренные звуковые изменения, характеризующие язык целого народа или многомиллионной его части, первоначально зарождаются, однако, в языке отдельного индивида. Но возникши, может быть, чисто случайным путем, напр., вследствие ослышки, они затем распространятся благодаря тому, что этому индивиду начинают бессознательно подражать другие индивиды.

И распространившееся таким образом новое звуковое явление часто может охватить не племенную группу,—нацию, которой принадлежит данный язык, а лишь одну какую-нибудь сословную группу. Напр., смягчение к под влиянием предшествующего мягкого согласного (Ванькя, чайкю) распространилось впервые в великорусском говоре бывших „боярских детей", как доказал в своей прекрасной работе „Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных" проф. Зеленин. Эту черту

„боярские дети“ передали затем низшим разрядам военно-служилого сословия, ставшим позже известным под именем однодворцев. Далее говор горожан обычно отличается от языка сельского населения, в самом-же городе разнится речь рабочего класса от речи интеллигенции.

Свои характерные особенности, выработавшиеся под влиянием церковного чтения, находим и в речи духовенства (так называемый семинарский выговор: окание, произношение *ого*,—*его* вместо *ова*,—*ева* в окончаниях прилагательных и местоимений и друг.).

Нередко данная звуковая черта охватывает язык представителей лишь одного пола, как, напр., среднее *л* в языке женщин в некоторых великорусских и украинских говорах. Наконец, ван-Гиннекен отличает язык взрослых от языка детей, в котором, в свою очередь, различает язык различных возрастов и полов. Исключения из этого звукового закона, по мнению Пауля и Томсона, не может быть. Кажущееся исключение объясняется хронологическим соотношением к другим законам или новообразованием по аналогии.

Для иллюстрации последнего положения приведу пример из истории праславянского языка.

В определенную эпоху праславянского языка дифтонги ai, oi, ei перешли в монофтонги (ai, oi перешли в $\bar{e}$ и затем в *ъ*, ei перешло в *i*): тогда-то явились формы местного падежа ед. ч. на *ъ* в основах на о из более древних форм, оканчивавшихся на oi (*рабъ* из *рлбоі*) и формы местн. пад. мн. ч. на *ѣхъ* из *оіхъ* (рабѣхъ из рабоіхъ): однако, после смягченных согласных в этих падежах, мы знаем, были другие формы (*ножи*, *ножихъ*) Являются ли они исключением из закона о переходе дифтонгов в монофтонги? Нет. Кажущееся исключение объясняется действием предшествовавшего ему по времени другого звукового закона, а именно, действием известного нам изменения гласного *о* в *е* после смягченных согласных. Таким образом, еще до перехода дифтонгов в монофтонги в форме местн. пад. ед. ч. явилось *ei* из *oi*, в форме местн. пад. мн. ч.—*еіхъ* из *оіхъ* (ножоі > ножеі; ножоіхъ > ножеіхъ); в эпоху же моно-

фтонгизации дифтонгов это ei перешло в i, и таким путем явились формы *ножи*, *ножихъ*.

Сохранение *о* в украинских полногласных формах *город* (русск. огород), *сором*, *долонь* и друг. при изменяющемся *о* в *і* или в *уо*, *уэ* в других говорах: *віз*, *стіл* — объясняется тем, что в момент дифтонгизации *о* в закрытом слоге (в возъ) второго *о* в слове *городъ* и подобных еще не было.

Наконец, некоторые исключения, как мы видели, объясняются диссимилирующим противодействием какого-нибудь другого звука в слове.

Временным и пространственным характером действия звукового закона не исчерпываются все его ограничения. Если звуковой закон, в отличие от физического, не является логически—необходимым и всеобщим ни во временном, ни в пространственном отношениях, то очевидно, у нас нет логического основания предполагать всеобщность его распространения на все примеры. Если закон был ограничен временем своего действия, случайно могло оказаться, что мало употребительное слово не попало в речь говорящих и не подверглось изменению. Наоборот-же, подвергнуться звуковому изменению могло иногда только часто употребляемое слово. Так, в своей статье „Несколько слов о говорах Лукояновского уезда Нижегородской губернии“ (1894, стр. 29 и сл.) проф. Б. М. Ляпунов приводит спорадические случаи выпадения согласн. и дальнейшего сокращения гласных в глаголах со значением „говорить“ (*де* из *дее*, *ка*, *каэ* из *каже* и др.) и правильно объясняет указанные изменения в этих глаголах небрежным отношением к ним, как к вводным словам, со стороны говорящих. Поэтому к формулированным Паулем ограничениям звукового закона мы должны добавить следующее: „звуковое изменение произошло в таких-то словах и примерах“, так как многие фонетические процессы носят спорадический характер. Нередко закон праязыка строится ради двух, трех примеров, исключений же из него оказывается гораздо больше. Необходимость объяснить эти исключения приводит скоро к созданию нового звукового закона, вытесняющего прежний закон,

и, таким образом, звуковые законы, по меткому выражению Брюкнера, „как листья, весной появляются, осенью опадают“ (KZ. 42 т., стр. 334). Причина этого лежит в том, что указанные Паулем и другими, способы объяснения исключений оказываются не в состоянии исчерпать их полностью. Мы видели, что изменения в вводных словах объясняются особым психическим отношением к ним со стороны говорящего лица. Может быть, будут найдены и другие пути объяснения исключений из звукового закона, но пока имеющиеся уже в нашем распоряжении способы оказываются недостаточными для этой цели, и поэтому мы должны признать существование таких звуковых законов, которые указывают на фонетический процесс, совершавшийся лишь *иногда*, *в некоторых примерах*. Может, правда, оказаться, что из того или иного фонетического явления не будет исключений. Так, напр., первое смягчение задненебных (и еще некоторые другие кардинальные явления в словянском праязыке) охватило все случаи, подлежавшие изменению. Но об этом мы можем узнать лишь по проверке всех случаев, существовавших в момент действия закона в языке, предсказать же всеобщее действие закона по двум, трем примерам мы не имеем права.

Таким образом, установление звукового закона, по выяснении всех указанных ограничений, нам представляется лишь как констатирование совершившегося в языке процесса уже post factun, с точным определением его границ в различных отношениях, и в таком случае, конечно, понятно, что закон не будет иметь исключений, так как все они и будут оговорены при его формулировке.

Сказанное нами о характере звуковых законов еще раз подтверждает важную роль социальных факторов в жизни языка. Оказывается, что не только зарождение языка, но и дальнейшее его развитие определяется взаимодействием говорящего и слушающего. Продуктом влияния социальных факторов является ритм. Мы видели, наконец, что сфера распространения какой-нибудь языковой черты часто определяется классовыми или сословными границами.

Следует еще добавить, что язык оказывается чувствительным к различным социально-экономическим и политическим событиям в жизни народа. Так, напр., образование большого культурного центра влечет за собою языковое взаимодействие между ним и подчиняющимися ему областями: диалектическое разнообразие их говоров начинает испытывать нивеллирующее влияние языка этого центра. Роль такого объединяющего центра играл у нас Киев, позже—Москва, Петроград.

Глубокие следы на языке, и главным образом, на словарном его составе оставляют всегда войны и революции.

К вопросу о роли социальных факторов в языке особый интерес возродился в последнее время на Западе (в работах Мейе, Соссюра, Оскара Блоха, ван-Гиннекена и друг.). В своей интересной книге „Einfuh rung in das Studium der indogermanischen Sprsachwissenschaft" (1921, перев. с датского), отражающей состояние лингвистики на Западе в последние годы, Шрийнен, стр. 102—123, социальные факторы делит на непрямые, продуктом которых является ритм, и прямые, охватывающие все остальные случаи влияния социального момента. Влиянию последних обязаны отличия языка представителей различных профессий (Wirtschaftssprache, Rechtssprache и т. д.), затем отличия Volkssppache от Kultursprache и т. д.

У нас тому же вопросу посвящена статья Баранникова „Из наблюдений над развитием русского языка в последние годы. I. Влияние войны и революции на развитие русского языка" (Учен. Зап. Самарск. Универс., вып. 2-й, стр. 64—84). О детском языке см. еще книгу C. и W. Stern „Die Kindersprache", 1920. и работу Рыбникова „Язык ребенка" (Педолог. библиот IV, 1920).

Звуковым законам посвящена книга Векслера „Hiebt es Zantgesetze", 1900.

ГЛАВА VI.

Семасиология.

Теперь мы переходим к обзору семасиологических изменений, т.-е. изменений, происходящих в области значений. Эти изменения, в свою очередь, независимы, большей частью, от звуковых изменений.

Приступая к изучению подобного рода изменений, мы будем пока рассматривать слова, как цельные единицы, обозначающие отдельные конкретные представления, т.-е. будем рассматривать слова, не разлагая их этимологического состава.

Семасиологические изменения несомненно обусловливаются психологическими причинами; они основаны на процессах ассоциации и апперцепции.

Развития и изменения своего значения слово достигает при своем применении, как средства познания. Мы уже говорили, что цель слова—служить познанию. Как средство познания, оно является сказуемым к познаваемому подлежащему. Но значение слова не будет строго ограниченным, постоянным. Данным словом мы можем назвать новое, хотя и сходное, но не вполне тождественное с прежним явление.

Этот переход к новому значению основан на психологических законах ассоциации. Предыдущее и последующее значения должны быть тесно связаны друг с другом. Лишь благодаря своему предшествующему значению слово может получить новое применение.

„Слово звук, как знак обозначения," говорит Потебня, „указывает на новое значение не само по себе, а только потому, что прежде имело другое значение" (Потебня).

С помощью этимологии мы можем иногда вскрыть целый ряд этих предшествующих значений, которые восходят к своему первоначальному естественному звуку. Главными орудиями этого этимологического анализа являются, во-первых, история языка, изучающая прошлую жизнь слова по древним памятникам письменности, в которых сохраняются более первоначальные значения данного слова, и во-вторых, диалектология, открывающая в наречиях и говорах более древнее значение слова, сохранившееся в данном диалекте.

Вскрывая по памятникам прошлую историю слова *опять*, мы узнаем, что в древности оно имело другое, пространственное значение и означало *назад* (в таком значении мы находим это слово в Лаврентьевской летописи); слово *опять* = назад, в свою очередь, восходит к слову *пята*; сравни *вспять*, *пятиться* от того же корня.

Слово *сутки* в значении периода в 24 часа или, вообще, в значении совокупности дня и ночи восходит к более древнему значению сумерок; в таком значении это слово живет и теперь в нижегородских говорах; в этом последнем значении оно в свою очередь, перенесено с первоначального пространственного значения переднего угла в комнате (в таком смысле это слово находим в вятских, вологодских говорах); разлагая этимологический состав этого слова на приставку *су* (сравни такой же вид приставки *су* вм. более обычного *со-* в словах супруг, суглинок и др.) и *тки* от корня *тък* (ткнуть, тыкать), мы видим, что собственный смысл слова сутки—место соприкосновения (сперва двух стен, позже место соприкосновения, встречи дня и ночи).

С историей семасиологической стороны всех слов, расположенных в алфавитном порядке, нас знакомят этимологические словари. Лучшим и почти единственным этимологическим словарем русского языка является словарь А. Преображенского, выходивший небольшими выпусками и, к сожалению, оставшийся не оконченным за смертью автора.

Каждая пара смежных в истории развития данного слова значений представляет тесную ассоциационную

связь. Обычно предыдущее из двух смежных значений называют собственным, последующее—переносным.

Эти переходы мысли от собственного значения к переносному будут в то же время поэтическими тропами.

Все слова с семасиологической точки зрения можно разделить на прозаические, которые имеют лишь собственное значение, и на поэтические, которые употреблены в переносном значении; последние называются также поэтическими тропами.

Остановимся теперь подробнее на вопросе о различии между прозаическим и поэтическим словом и укажем на главную причину, обусловливающую это различие.

Сравнивая слово *капуста* со словом *подснежник*, мы замечаем между ними разницу, состоящую в следующем: в то время, как в слове *капуста* мы находим два элемента (словесный знак и значение), в слове *подснежник* заключается три элемента (словесный знак, значение и художественный образ, картина, наглядно рисующая как подснежник ранней весной появляется из-под снега, и этим самым объясняющая нам, почему данное растение (семейства нарциссовых с определенными признаками) названо подснежником. Этот третий элемент в поэтическом слове носит в науке название „внутренней формы".

Такого рода слова, как *капуста*, мы называем прозаическими, а как *подснежник*—поэтическими.

Чаще всего этот третий элемент поэтического слова является ничем иным, как предшествующим значением слова. Так, внутренней формой поэтического слова *рукав* (реки) является предыдущее значение—*рукав*, как известная часть платья.

Но и прозаические слова, в которых, как это на первый взгляд кажется, нет третьего элемента—внутренней формы, когда-то также были поэтическими. С помощью этимологического анализа мы можем для всех почти прозаических слов найти предшествующее значение или внутреннюю форму, которая и является носительницей поэтической стихии слова.

Так, сопоставление слова *капуста* с латинским словом *capus* или со средне-лат. caputium выясняет нам этимологию данного слова и указывает, что данное растение было так названо на основании его сходства с *головой*. Слово *разлука*, кажущееся прозаическим, также представляло первоначально художественное обозначение расставания людей по сходству с разгибанием концов лука; таким же метафорическим обозначением и того же корня оказывается слово *лукавый*, которое первоначально означало уклоняющийся, изгибающийся.

Благодаря разным причинам это предшествующее значение, однако, постепенно утрачивается, забывается. Забвению внутренней формы способствуют звуковые изменения, нередко меняющие до неузнаваемости внешний вид слова. Прозаическим может стать иногда слово независимо от фонетических изменений; продолжительное время или даже частое употребление как бы стирает внутреннюю форму слова, и мы постепенно забываем, почему данное слово означает именно то, а не другое. Люди, не занимающиеся лингвистикой, могут иногда не замечать внутренней формы самого обычного слова. Многие, должно-быть, не предполагают, что *кладбище* происходит от слова *кладу*, *класть*, *рыло*, *дуло*— от слов рыть, дуть и т. д.

Но случайно обращенное на слово внимание, которому в трудных случаях приходят на помощь история языка и диалектология, воскрешает его предшествующую жизнь,—прозаическое слово вновь становится поэтическим. Отсюда мы делаем важный вывод, что главным условием поэтичности слова является одновременное сохранение в нашем сознании предыдущего и последующего значений. Пока наряду с переносным значением в нашем сознании сохраняется воспоминание о предшествующем значении, с которого перенесено данное слово, оно, т.-е. это слово, будет поэтическим тропом.

Переходим теперь к рассмотрению отдельных видов тропов.

Все тропы подразделяются на три категории: метафору, метонимию и синекдоху.

Метафора.

Метафорой (от греч. сл. μεταφορα—перенесение) называется обозначение неизвестного x посредством известного уже нам явления A, связанного с x отношением сходства.

Будучи основанным на ассоциации по сходству, этот вид тропов является, как мы увидим в VIII главе, самым важным и продуктивным в нашем творческом мышлении. По выражению Харциева („Элементарные формы поэзии" в „Вопросах теории и психологии творчества", т. I), она является „эвристическим способом нахождения новой мысли.

Сравнение и переход мысли в метафоре Аристотель представлял в виде решения пропорции.

Называя старость вечером жизни, мы как бы составляем, по мнению Аристотеля, следующую пропорцию: старость так относится к жизни, как вечер ко дню. Но предложенное Аристотелем представление метафоры в виде пропорции противоречит действительности.

Метафора является бессознательным сочетанием сходных понятий или представлений.

О сознательном же решении пропорции не может быть и речи. Представление метафоры в виде пропорции—это уже результат научного анализа post factum.

Привожу несколько примеров метафоры: подошва (горы), язык (колокола) по сходству с языком—органом речи, голова (городской), русский курок, заимствов. из польск. kurek, первоначально означал петушок; срв. ст.—сл. коуръ—„петух".

Все почти слова, служащие для обозначения временных и причинных отношений, возникли путем метафоры и перенесены с более конкретных пространственных отношений, как более доступных чувственному воззрению.

Переносное значение предлогов, обозначающих временные отношения вместо пространственных, представляет такого же рода метафору.

Этот случай обозначения временных отношений словами, имевшими прежде пространственное значение, Потебня ошибочно относит к метонимий (Из записок по теории словесности).

Таким же путем возникло упомянутое уже нами слово *опять*, перенесенное с пространственных отношений и означавшее первоначально назад, обратно. Интересно, что слово *обратно* в некоторых народных говорах претерпевает тот же процесс семасиологического изменения и употребляется иногда в значении опять, вторично: вона обратно заболіла (дер. Красногорка, Тираспольск. уезда).

Другим примером подобного рода метафоры может служить слово *сутки*, которое Буслаев правильно помещает в ряде метафор.

Все случаи метафор можно подразделить на несколько разновидностей.

Являясь переходом по сходству или соответствию, всякая метафора представляет бессознательный процесс сравнения. Но среди метафор мы выделяем сравнения в более узком смысле слова.

Если рядом с новым, переносным значением стоит прежнее, более обычное, если рядом с объясняющим образом мы ставим и объясняемое значение, такой вид метафоры мы называем сравнением.

По взаимному расположению образа и познаваемого значения мы различаем сравнения препозитивные, в которых образ предшествует значению, и сравнения постпозитивные, в которых образ ставится после значения.

Сравнения препозитивные грамматически выражаются союзными речениями: как-так.

В поэзии словянских народов мы часто видим случаи опущения союзов (ἀσύνδετον):

„Грушице моя, чом ти незеленая?
„Милая моя, чом ти невеселая?

В сравнениях постпозитивных образ носит, обыкновенно, характер воспоминания.

„Сменит не раз младая дева
„Мечтами легкие мечты;
„Так деревцо свои листы
„Меняет с каждою весною".

Богатство художественных примеров сравнений, разрастающихся в целые периоды, представляет гоголевская поэзия.

По модальности мы различаем следующие виды сравнений: 1) сравнения положительные, в которых образ представлен как факт, а за ним следует значение (Ой, зійди, зійди, зірочка та вечірняя. Ой, вийди, вийди, дівчинонько моя вірная) и 2) сравнения отрицательные, когда сравнение начинается с отрицания тождества образа со значением (Не кукушечка, братцы, во сыром бору куковала, не соловьюшко, братцы, во зеленом саду громко свищет, добрый молодец в неволюшке слезно-горько плачет).

Видами метафоры являются также олицетворение и аллегория или иносказание.

Олицетворение состоит в перенесении слов и выражений, относящихся к одушевленным предметам, на неодушевленные предметы или отвлеченные понятия. В поэзии и даже в обыденном разговоре олицетворение употребляется на каждом шагу: ветер воет, море ревет и т. п.; своей дремоты превозмочь не хочет воздух (Пушкин); в душе его уснули все желания и др. Приобретение глаголом способности изображать постоянный признак предмета, как результат его деятельности представляет такое же олицетворение (*лес чернеет* вместо *лес черный*), хотя мы привыкли к этому и не чувствуем обычно метафоричности глаголов.

Образование грамматического рода в именах предметов неодушевленных тоже относится к этому виду метафоры.

Олицетворение принадлежит к числу главных поэтических приемов народной поэзии, переходя очень часто в миф. Если в олицетворении перестает сознаваться метафорическое отношение образа и значения и они начинают отожествляться, тогда олицетворение становится мифом.

Третий вид метафоры, аллегория, является уже сложным ее видом. Аллегорию мы можем рассматривать как полную метафору, т.-е. такую, которая никакого иного значения, кроме метафорического, не должна иметь.

Пример аллегории представляет „Телега жизни“ Пушкина.

К формам сложной метафоры принадлежит басня, притча и пословица.

В ряде метафор Вундт различает ассимиляции и компликации, в зависимости от того, принадлежат ли оба значения метафорического выражения, предыдущее и последующее, к однородным представлениям, или же данное слово перенесено на представление иного рода, напр., *сладкие звуки*; *бархатный тенор*, т.-е. тенор, производящий на слух такое же мягкое впечатление, какое производит бархат на человеческую кожу.

Метонимия.

Следующий вид тропов—метонимия (от греч. сл. μετονυμία — переименование) представляет обозначение неизвестного x посредством такого известного уже нам A, которое связано с x отношением смежности. Название x мы заменяем названием явления A, смежного с ним в пространственном, временном или причинном отношениях.

Она основана, конечно, на ассоциации по смежности.

Часто метонимии не соответствует никакое реальное основание (т.-е. пространственная или временная смежность), а единственным, исключительным является ее психологическое основание.

Метонимию мы различаем по различию сочетания A с x.

Во-первых, к метонимии относятся случаи обозначения места или пространства тем, что в нем происходит: полдень в значении юг и т. п.

Затем к метонимии нужно причислить замену названия содержимого названием сосуда:

Я три тарелки съел (Крыл.); ковши круговые, запенясь, шипят (Пушк.).

Родственным этой категории случаем следует считать название города вместо населяющих его жителей: А Петербург неугомонный уже барабаном пробужден.

К метонимии принадлежат также различные виды обозначения времени.

Период времени может быть обозначен его началом или какой-нибудь частью: украинск. *тыждень* (собственно тот же день) вместо неделя; самое слово *неделя* в русск. яз., как и в греческом, первоначально означало воскресение (неделание); в значении воскресения это слово до сих пор живет еще в украинском наречии.

К метонимии Потебня ошибочно относит обозначение временных отношений словами, имевшими сперва пространственное значение.

Но, как мы уже видели, этот случай представляет метафору, а не метонимию.

Нужно сказать еще о метонимическом обозначении действия или переживаемого состояния. Чувство, обыкновенно, художественно обозначается жестом или, вообще, выразительным движением: „Сосед в своем углу надулся“ (из „Евгения Онегина“) *нахмурить брови*, *махнуть рукой* и т. д.

Действие обозначается в виде одного из его моментов или следствия, из него вытекающего, наконец, в виде впечатления, им производимого: *пустить кого по миру*—в значении *разорить*, умыть руки—в значении сложить с себя ответственность.

Очень художественный пример обозначения лиц по главному предмету занятий находим в говорах польского языка, в которых в значении *по отцу и по матери* говорят po mieczu i kądzieli, т.-е. *по мечу и кудели* (см. „Польская хрестоматия“ Вержбовского, стр. 428).

В ряде метонимий, связанных с обозначением действия, следует упомянуть об особом виде метонимии, имеющем важное и необходимое значение в истории образования имени. В „Записках по русской грамматике“ Потебня указывает, что имя действия, затем продукта действия (nomen actionis, acti) образуется из более первоначального имени действователя (nomen agentis), при чем этот переход от nomen agentis к nom. actionis и acti происходит путем метонимии. К nom. acti возможен переход и от названия действия: *еда* не только в значении действия, но и в значении того, что едят.

Очень распространенной в поэзии разновидностью метонимии является также обозначение предмета именем

вещества, материала, из которого он сделан: *янтарь* в устах его дымился; всё мое, сказало *злато* (вм. деньги), всё мое, сказал *булат* (вм. меч), *корыта* от слова *кора*, *медяк* и друг. В данном случае смежность между вещью и материалом, конечно, не реальная, но исключительно психологическая: вспоминая о вещи, мы невольно вспоминаем о веществе, из которого она сделана.

Но, вообще, метонимические обозначения отличаются своим богатством и разнообразием и не могут быть исчерпаны какой-нибудь классификацией.

Так, напр., в ломоносовских стихах „Ах, еслиб жизнь ее продлилась [1]), давно б *Секвана* [2]) постыдилась своим искусством пред Невой“ (Из оды „На восшеств. на престол императр. Елисаветы Петровны“) слова Секвана и Нева, безусловно, представляют метонимию, так как заменяют собою названия смежных с ними в пространственном отношении городов—Парижа и Петрограда, расположенных на их берегах.

Пространственная смежность в широком смысле лежит в основании таких перенесений, как *рыбный*, *мясной стол* в значении того, что на столе подается; *полотно* в значении того, что на нем нарисовано. Еще несколько примеров метонимии, не подводимой под приведенные категории: *паска* или *пасха* вместо кулича баба, т.-е. название печения по тому празднику, когда его едят; обозначение музыкального инструмента по первому или второму слову песни, распевавшейся французами „Charmante Katherine“ (шарманка или (реже) катеринка) также основано на метонимической связи. В дополнение к приводимым в учебниках по теории словесности примерам метонимического употребления имени писателя вместо названий его сочинений можно привести еще родственный случай обозначения изобретения по имени изобретателя: *шрапнель* и др.

Метонимия в человеческом знании играет важную роль, так как сущность „вещей в себе“ познается лишь постольку, поскольку устанавливается метонимическая

---

[1]) Об императрице Екатерине I.
[2]) Древнее название Сены.

связь между внутренней стороной, т.-е. значением слов и знаками: значение познается лишь в отношении к знаку, Вот поэтому в различных языках слова, обозначающие знак и значение, происходят от одного и того-же корня: греч. *σῆμα* и *σημεῖον*, немецк. *deuten* и *bedeuten*, русск. *знак* и *значение*.

Синекдоха.

Третьим видом тропов является синекдоха. Синекдохой (от греч. слова *συνεκδοχή*—соподразумевание, совключение) мы называем обозначение неизвестного x по его части или признаку.

К синекдохе прежде всего следует отнести случаи обозначения вещей по их признакам или действиям, ими производимым; эта категория является одним из важнейших способов словообразования.

Примеров этой категории бесчисленное множество: *ходули* от слова ходить, *мельница* от молоть; *трясина*—тряское болото; *ветчина* первоначально *ветшина* представляет такое же обозначение предмета по его признаку и, по мнению Ягича и Потебни, происходит от слова *ветъхъ*—старый.

Почти все названия животных образованы от названий их отличительных признаков: *медведь*—едящий мед, *птица*, как полагали некоторые исследователи, может быть, означало летающая (срв. санскр. pâtati—летит, греч. *πέτομαι*—летаю и т. д.); в последнее время эта этимология, однако, оставлена, и ученые сопоставляют данное слово с лит. putýtis—„петушок“, paũtas—„яйцо“; *петух*—поющий; *окунь*—имеющий большие глаза (от слова *око*) и много других. Самое слово *животное* означает живущее.

Иногда эта категория синекдохи сливается с метонимией. Так, напр., слово *трус* представляет синекдохическое обозначение боязливого человека по дрожанию, которым сопровождается чувство страха; но, с другой стороны, оно представляет и метонимию, обозначая переживание по одному из внешних его проявлений.

К той же категории принадлежат существительныя, служащие названиями орудий действия (nomen instrumenti); с окончанием -ло: *дуло* от дуть, *рыло* от рыть, *весло*, по мнению Вондрака, из первоначального вез-сло; по Миклошичуже, из вез-тло—от слова везти, *масло* от мазать.

Название человека во всех почти языках представляло первоначально синекдоху и указывало на мышление как на его отличительную черту: санскр. manuš, ст.-сл. мѫжь происходит от корня mon-, чередовавшегося с men-; сравни также немецк. Mann Mensch.

Слово *врач*, ст.-слов. *врачь*, родственное слову *врать*, из праслов. vorkios представляет такое-же синекдохическое обозначение предмета по его признаку и означало первоначально заговаривающий болезнь; тот же корень, но в другом виде и с другим суффиксом мы имеем в словах *ворчать*, *ворковать*.

Турецкое слово *соба*—печь (перешедшее в таком значении в румынский язык) у южных словян стало обозначать комнату, т.-е. помещение, снабженное печью; в результате обозначения того же признака возникло слово *комната* из среднелатинского caminata (через посредство германского), что означало теплое, снабженное камином помещение.

К этому же случаю обозначения вещи по признакам должен быть отнесен также эпитет, представляющий, однако, формальные отличия от обыкновенной синекдохи.

Эпитет, как признает Потебня, есть форма общая по отношению к отдельным тропам; он может покрывать и другие тропы, т.-е. метонимию и метафору. Но, представляя собою переход от частного к общему, от признака к предмету, эпитет будет все-таки синекдохой.

Разбирая обычное определение эпитета, как приложения определительного прилагательного к определяемому существительному, Потебня проводит разницу между определением прозаическим и определением поэтическим, каковым является эпитет. В то время как прозаическое определение, являющееся differentia specifica, производить логическое деление или просто совершает рас-

членение, разграничение мысли, необходимое для ясности, поэтическое определение или эпитет означает признак, общий всему роду, с точки зрения призаической ясности являющихся излишним.

Но Потебня не подчеркнул того, что эпитет, не представляющий формальных логических отличий от синекдохи, представляет, однако, граматические отличия.

В то время как синекдоха, как переход мысли от целого к части, от предмета к признаку и обратно, существует лишь в акте предицирования, связь эпитета, как поэтического определения, с определяемым обыкновенно бывает простым аттрибутированием. Эпитет может и не производить логического деления, являясь излишним для прозаической ясности, но с грамматической, формальной стороны он всё таки остается сочетанием определения с определяемым словом, синтаксическим изменением признака, выраженного первоначально в сказуемом, которое в таком виде было синекдохой.

Отношение эпитета к определяемому слову может быть двоякое. Еще в сочинении „Мысль и язык“ Потебня указывает, что в прозаических словах, в которых стерта уже и забыта внутренняя форма, мы стараемся восстановить её с помощью постоянных эпических выражений, главным образом, с помощью эпитетов. И сообразно с этим свойством эпических выражений мы среди всех случаев различаем эпитеты, которые угадывают и вскрывают позабытую внутреннюю форму слова; это— такие, как *крутой берег* (русск. берег из праслов. *berg*, которое овначало *гора*; срв. нем. Berg), сербское жуто злато (желтое злато); ясная звездочка и др.; они свойственны, главным образом, народной поэзии.

Такое же бессознательное восстановление внутренней формы мы видим в выражении *белая лебедь*.

Слово *лебедь* (из праслов. elbed-) вместе со своими вариантами (чешск. labut, серб̀ск. лабуд из праслов. alb̨d-) будет родственно латинскому albus, греч. *ἀλφός* и означало первоначально *бѣлый* (см. литографиров. курс „Сравнительн. фонет. словянск. язык. проф. Ляпунова, стр. 172).

В современной поэзии почти совсем утеряно чутье внутренней формы, и ее восстановление в литературе является большей частью, чистой случайностью. [1])

В ряде остальных случаев синекдохи можно установить две главных категории. Первая обнимает примеры, в которых часть является вместо целого, однородное множество представлено единственным числом; вторая охватывает случаи обратной замены, когда часть заменяется через целое, единство—множеством. Последняя категория, как мы увидим ниже, представляет меньше художественной ценности и не соответствует назначению тропов способствовать экономии наших умственных сил.

Довольно распространенной разновидностью первой категории является обозначение целого по части, прежде всех других частей бросившейся в глаза говорящему. Сюда следует отнести такие примеры, как *хохол* вместо малоросс; столько-то *голов* скота, вм. штук скота; тысяча штыков, вм. тысяча солдат; вымпел, вм. судно (столько вымпелов); *флаг*, вм. корабль: „Все флаги в гости будут к нам“, *флаг* вм. флот: „И с трепетом Нептун чудился, взирая на российский флаг“ (из цитированной уже нами оды Ломоносова; вообще, язык ломоносовских од, как образцов ложноклассической поэзии, согласно правилам последней, изобилует тропами).

Замена личного или возвратного местоимений словами: душа, тело, грудь будет также синекдохой.

Как на пример мы можем указать на санскр. *atma* (n) —душа в значении возвратного местоимения, на др. франц. *mes corps*, имеющее значение личного местоимения первого лица.

К этой-же категории должно быть причислено употребление определенной меры или наглядного представления для обозначения неопределенного множества или отвлеченного отрицания.

Стократ блажен, кто верует.

---

[1]) В своей книге „Изучение родного языка“ (1921 г., стр. 82 сл.) Рыбникова заявляет, что у многих писателей есть свой излюбленный эпитет у Чехова преобладает слово *тихий* у Фета—*безумный*, у Тютчева—*роковой*

Вселенная, т. е. заселенная часть мира вместо целого космоса.

Не видно ни зги также представляет собою живописное отрицательное определение и, по этимологии Миклошича и других, означает не видно *ни дороги*: *зги* из первоначального *стьги*; срв. стезя из стьзя. Буслаев предлагал другую этимологию этого слова и сопоставлял его с рязанским згинка, згиночка—искорка (Буслаев, Историч. граммат. русск. яз., стр. 72).

Перейдем ко второй категории синекдохи, которая представляет замену части через целое.

Являясь переходом от части к целому, от признака к предмету, заменяя единство множеством, она не приводит к сбережению психической энергии и с точки зрения наглядности, художественной изобразительности является излишней.

Чаще такой переход от части к целому служит поэтическим целям не в качестве синекдохи, а только, как гипербола.

К этой второй категории мы отнесем наглядное обозначение множественным числом одной делимой вещи, представляющей множество частей или пару симметричных частей: сани, щипцы, клещи, ножницы, брюки и т. п. затем замену единственного числа множественным в некоторых других случаях. Так, русский крестьянин на вопрос о происхождении часто отвечает: мы орловские, мы рязанские.

В своих „Записках по теории словесности“ Потебня указывает еще на один вид синекдохи, приведенный впервые Вакернагелем, а именно, на употребление рода вместо вида или лица: француз вм. преподаватель французского языка.

Но этот вид мы не должны относить ко второй категории. Замена видового или личного имени родовым, представляя со стороны объема переход от части к целому, — со стороны содержания представляет обратное, т. е. переход от целого к части, так как содержание родового понятия заключается в содержании видового понятия.

Этим мы закончим перечисление видов синекдохи. В заключение мы должны сказать, что синекдохой является, вообще, всякая типичность, заменяющая бесконечные изменчивые ряды действительности; всякий художественный образ, объединяющий многочисленные явления жизни, воплощающий в частном, конкретном факте общее значение, будет синекдохой.

В связи с указанным только что значением синекдохи как средства выражения типичности следует упомянуть об особом ее виде, возникшем на почве литературы и искусств, а именно, об антономасии, т. е. замене нарицательного или собственного имени другим собственным.

Примеры: Цицерон вм. оратор; меценат вм. покровитель наук и искусств; *Сократ* в значении мудрец; ментор, вандал и много друг.

„Господствующие антономасии всегда указывают на запас знаний и вкусы данного времени, на литературные влияния, коим оно подчиняется“, и, как заметил Потебня, представляют пример влияния литературных типов на жизнь.

Общеизвестными антономасиями будут литературные прозвища, вошедшие уже в жизнь, как Гамлет, Дон-Кихот, Ловелас, Митрофанушка, Простакова, Молчалин, Хлестаков, Чичиков и друг.

Антономасия может отличаться более широким характером и быть, вообще, намеком на известное уже нам, прежде познанное явление; в таком случае она носит название аллюзии: опричина, домостроевщина (в применении к современным явлениям).

Получившее большую популярность и довольно широкое распространение в последнее время слово *панама* представляет такую-же поэтическую аллюзию, намекающую на подкупы и денежные злоупотребления, имевшие место при постройке Панамского канала.

Приведу еще один древний пример антономасии, представляющий замену родового имени видовым.

Прилагательное *чужой*, ст.—сл. *штоуждь* первоначально было взято от имени немцев, перенесенного

словянами на финнов: древне-русск. чудь (назв. финск. племени) и *чуж* из прасловянск. tiudio из более древнего teudio; сравни латинское название немцев Teutones, Teutoni у Юлия Цезаря, готск. thiuda „народ“ thiudisk „народный“ и н.-в.-нем. deutsch (Ляпунов „Сравнит. граммат. словянск. язык“, стр. 64, 65).

В этом слове мы видим, следовательно, пример такого семасиологического изменения, которое проф. Томсон называет расширением значения*)

Проф. Томсон и некоторые другие языковеды, вообще, предпочитают говорить не о трех видах тропов, а о расширении значения**) (Caesar—цьсарь стало употребляться, вообще в значении царя), его сужении или специализации (пиво—первоначально каждый напиток—позже стало обозначать лишь определенный напиток) и о переносном значении (метафоре). Но первые два вида семасиологического изменения, в сущности подходят к синекдохе, при чем в основе расширения значения лежит еще и метафора. Особый случай расширения значения представляет перенесение названия ближайшего племени на весь народ, к которому относится данное племя: так, латыши словом kreewy (первоначально это было названием ближайших к ним кривичей) называют всю Россию; крымские татары словом *казак* обозначают всех русских. Иногда-же название соседнего племени переносится на народ даже другого происхождения, но живущий за данным племенем (тогда это скорее метонимия): срв. *волох*, *влах* в словянских языках в значении итальянец или румын; первоначально-же оно обозначало соседних словянам кельтов, которые отделяли словян от вышеназванных племен.

Интересный пример семасиологических изменений представляет в украинском языке судьба слова *москаль*: получивши значение солдата—москвича, т. е. велико-

---

*) Но принимая во внимание указанное значение готского слова thiuda („народ“) и родств. с ним латышск. tauta („народ“), можно думать, что в некоторых яз. первоначально процесс изменения этого слова был обратный, т. е. мог представлять сужение значения.

**) Интересный пример расширения значения представляет немецкое Ketzer—еретик, возникшее из греч. καθαρος, обозначавшего первоначально представителя особой ереси развившейся из богумильства.

росса, это слово сузилось в своем значении, но позже оно расширилось и стало употребляться, вообще, в значении, вообще всякого солдата: німецкі москалі и т. п.

Закончив обзор тропов, мы должны заметить, что поэтическая природа слова определяется только в речи, только в речи данное слово может стать метафорой, метонимией или синекдохой, в зависимости от того, с какого прежнего значения оно перенесено.

Так одно и то же слово *голова* (пример заимствую у Потебни) может стать синекдохой (столько голов скота), метонимией (стоять в головах) и метафорой (городской голова).

Очень часто один из видов тропов сливается с другим. Так, напр., приведенный уже нами из ломоносовской оды пример метонимии: „Давно-б *Секвана* постыдилась своим искусством пред *Невой*“ сливается с синекдохой: *Секвана* и *Нева* употреблены вместо названий смежных с ними в пространственном отношении городов Парижа и Петрограда; но от этих городов наша мысль, в свою очередь, синекдохическим путем переходит к Академиям наук и искусств, находящимся в этих городах. Антономасия представляет такое-же слияние синекдохи с метафорой.

Подводя итог всему сказанному о тропах, мы постараемся теперь выяснить их роль в процессах познания.

Древние теоретики и даже авторы многих современных нам школьных учебников по теории словесности определяют тропы как переносные выражения, произвольно употребляемые с целью украшения речи. Они соподчиняют их с фигурами и вместе с последними считают их, т. е. тропы, искусственными украшениями ораторской и поэтической речи. Но если-бы это было так, тогда тропы были бы присущи только языку ограниченного числа образованных людей. В действительности-же мы видим обратное. Тропы именно и принадлежат в большей степени языку необразованных людей, детей и дикарей.

Усвоив основные положения современной психологии языка, мы приходим к противоположному выводу: всякий

переход мысли к новому значению является тропом, в основании которого лежат чисто психические законы ассоциации и апперцепции.

Тропы—вполне естественные приемы языка, вытекающие из психологической необходимости и служащие познавательным целям, между тем как главное назначение фигур (иронии, гиперболы, литотеса*), умолчания, тавтологии и друг.) заключается в выражении чувств, сопровождающих процесс познания.

Всякий переход слова к новому значению представляет собою, в сущности, акт познания нового, неизвестного явления х посредством известного уже нам А. Красота образного выражения является, таким образом, не как излишняя роскошь, но в строгом соответствии с потребностями мысли, познания. „Побуждения эстетические и логические здесь нераздельны“ (Потебня). Эта образность языка, свойственная языку детей и наших предков, вытекает не из роскоши, а, именно, из бедности первобытного языка. Видя в первый раз круглый, зеленый абажур, ребенок на основании сходства называет его знакомым ему словом арбузик именно потому, что он не знает еще настоящего название абажура. Это пример, обыкновенной метафоры.

С другой стороны, и метонимическое обозначение, основанное на ассоциации по смежности, также свойственно первоначальному состоянию языка. Трехлетний сынишка одной моей знакомой дамы побывал на Ланжероне (прибрежная окрестность гор. Одессы), где ел, между прочим, вафли в одном из киосков. Когда спустя некоторое время ему пришлось вторично есть вафли, он вдруг радостно воскликнул, показывая их матери: „Мама, смотри—Ланжерон!“.

Мы уже неоднократно говорили, что тропы вытекают из психологических законов ассоциации и апперцепции. В основании метафоры лежит ассоциация по сходству, в основании метонимии—ассоциация по смежности. Психологическим (но не реальным) основанием

*) Литотес или умаление—фигура, противоположная гиперболе: ниже травы, тише воды.

третьего из тропов, синекдохи, может быть та же ассоциация по смежности, так как, вспоминая о целом, мы невольно можем вспомнить о его части, но, главным образом, синекдоха является словесным выражением процесса апперцепции. Синекдохический переход мысли играет поэтому важную роль в аналитическом расчленении сложного, конкретного образа или представления и имеет большое значение в образовании понятия.

В VIII главе мы увидим, что различные стороны понятия—объем и содержание—образуются, во-первых, в синтетических и, во-вторых, в аналитических суждениях, при чем синтетические суждения, представляющие метафорическое и метонимическое сочетание представлений и понятий, предшествуют аналитическим предложениям, связанным с синекдохическим переходом мысли.

Теперь мы укажем на некоторые характерные черты семасиологических изменений.

Семасиологическое развитие может быть, вообще, охарактеризовано, как переход от конкретного к абстрактному. В следующей главе мы постараемся доказать, что формальные части слов, суффиксы и флексии, отличающиеся своей общностью и абстрактностью, возникают из отдельных слов, имевших первоначально конкретное значение. И вообще, все слова, обозначающие отвлеченные понятия, исходным пунктом имели наглядные чувственные представления.

Слово *часть*, представляющее известное отвлечение, взято от наглядного представления резания и означало сперва как бы *отрезок*: *часть* из первоначального индоевроп. корня *skhind*;—сравни санскр. *chid*,—латинск. scindo, scidi, немецк. scheiden.

Многие числительные также перенесены с более конкретных представлений: русск. *раз* может быть сопоставлено с глаголами *разить*, *резать*; то же значение имело первоначально ст. слов. *кратъ*, которое Уленбек ставит в связь с санскр. глаголом *kratáti*—режет; сербское *пут*—раз означало раньше *путь*.

Сербский союз вeh—„но“ первоначально означало больше (срв. того же корня русское книжное прилага-

тельное *вящий*, заимствованное из старо-словянск. языка), как и франц. *mais*—„но“ из *magis*.

И даже такой глагол как *быть* (санскр. *bhu*,—лат. *fui*), обозначающий отвлеченное понятие существования или служащий связкой в составном сказуемом, по мнению Потта (Etymologische Forschungen), имел первоначально конкретный и даже звукоподражательный характер и означал дуть, дышать.

Благодаря такому перенесению значений из небольшого сравнительно числа корней праязыка вырастают богатые в словарном отношении языки.

Следовательно, прогресс языка заключается не в изобретении новых слов, но в расширяющейся множественности прежних слов, переносимых на новые значения и вступающих иногда в новые ассоциации с теми или иными флексиями.

Изучение природы отдельного слова и определение разницы между поэтическим и прозаическим словом имеет, как это доказал Потебня в своих трудах, большое значение для изучения высших произведений слова. Различие между поэтическими и прозаическими произведениями будет соответствовать различию между поэтическими и прозаическими словами.

Как в поэтическом слове, так и в поэтическом и, вообще, во всяком художественном произведении—три элемента: внешняя сторона, значение и художественный образ, соответствующий внутренней форме слова, в то время, как в прозаическом произведении мы находим только два элемента: внешнюю сторону и значение. Указанные соответствия разъясняют нам также, почему семасиология является синонимом теории словесности.

Семасиология в школе.

Идейные руководители старой школы много спорили по вопросу о том, в каком классе нужно преподавать теорию словесности. Одни говорили, что изучение данного предмета необходимо предпослать истории литературы, чтобы при ее прохождении ученик мог разобраться в том, что такое поэтические и прозаиче-

ские произведения, каковы их виды, в чем заключается поэтичность языка и т. д. Поэтому теории словесности отводили место в IV классе реальных училищ и в V классе женских гимназий. Противники этого взгляда полагали, что рациональное усвоение теории словесности возможно лишь по основательном ознакомлении с самыми образцами словесности, а также при условии элементарного знакомства с психологией и посему наиболее своевременным считали прохождение теории словесности в VIII классе (мужских гимназий). Как мы видим, соображения и тех и других замыкаются в заколдованный круг. В сущности правы были обе стороны, и потому мы наилучшим резрешением вопроса считаем разделение теории словесности в школе на два концентра. Необходимо, конечно, предпослать самые краткие сведения по теории словесности ее историческому изучению, но этим ограничиться нельзя. Нужно уже по прохождении самой истории литературы еще раз вернуться к теории словесности во втором концентре, место которому должно быть отведено в старших классах второй ступени трудовых школ российского типа, в учебных же заведениях украинского типа—в последнем классе семилетней трудовой школы и в средних профессиональных школах. Тут изучение теории словесности, а главным образом, отдела о тропах, совпадающего с семасиологией, должно вестись параллельно с грамматикой и фонетикой (включая сюда как элементы общего, так и историко-сравнительного языкознания), что в совокупности и составит наукообразное изучение языка.

Необходимость прохождения семасиологии, связанного с элементами грамматики и фонетики, можно иллюстрировать следующими примерами. Чтобы доказать учащимся первоначальную поэтичность слова *пепел*, нужно будет, во-первых, указать на то, что первое *е* в данном слове явилось из *о* в результате ассимиляции, во-вторых, разложив более раннее *попел* на приставку *по*—и корень—*пел*—, осветить затем сущность чередования гласных, выяснив этим самым родство разбираемого слова со словами *палить*, *пылать* и др. В итоге

вскроется первоначальная метонимичность этого слова. Оказывается, что *пепел* это то, что остается после того, как спалили что-нибудь.

Не меньше вопросов придется затронуть, чтобы доказать метонимичность слова *ожерелье*, названного по своему отношению смежности к горлу. Произведя морфологический анализ этого слова, нужно будет выяснить сущность русского полногласия: полногласная форма—*жерел*—восходит к неполногласной *жерл*,—которая, в свою очередь, объясняется из **герл*—как результат совершившегося в прасловянском языке смягчения заднеязычных согласных; наконец, последняя форма может быть поставлена в связь с *горло* (<**гърдло*), отличающимся от него другим видом корня. При разборе слова *ожерелье* можно попутно раскрыть метафоричность слова *жерло* (пушки), в котором сохранилась форма *жерл*.

Большую пользу словеснику при преподавании семасиологии в школе может принести книга М. А. Рыбниковой „Изучение родного языка“ (1921).

ГЛАВА VII.

Грамматика.

Особым видом семасиологического развития считают грамматическое развитие языка, отличающееся более формальным характером своих единиц, но мы понимаем грамматику в более широком смысле и, наоборот, семасиологию считаем ее частью.

Мы уже знаем, что в слове зарождаются наши понятия. Но и дальнейшее их развитие и образование высших отвлечений происходит также в слове, а именно, в его грамматической форме.

История образования грамматических форм—история всего нашего миросозерцания.

Изучение формальной стороны языка составляет часть языкознания, называемую грамматикой, которая представляет нераздельное соединение этимологии и синтаксиса. Как мы увидим из дальнейших рассуждений, грамматическая природа слова определяется его ролью в предложении, его синтаксической функцией.

Поэтому неправильным является мнение Буслаева, что этимология рассматривает свойства и формальные изменения слова вне связи его со значением, „синтаксис же объясняет значение и употребление частей речи и их изменений".

Опровергая этот взгляд, Потебня всю область языкознания делит на „фонетику, рассматривающую внешнюю форму слова, звуки, предполагая их знаменательность, но не останавливаясь на ней, и учение о значении, в котором, наоборот, внимание сосредоточено на значе-

нии, а звуки только предполагаются" („Из запис. по русск. граммат.", стр. 52).

Это учение о значении будет включать, таким образом, и этимологию и синтаксис, которые отличаются друг от друга только, как разные точки зрения на одно и то же явление.

Этимология—особый исторический взгляд на грамматическую форму данного слова. „Такит образом, этимология и синтаксис относятся друг к другу, как история и описание современного состояния; последнее объясняется первым" (Потебня, ibid.).

Пытается выяснить отношения между различными отделами языкознания — фонетикой, морфологией, синтаксисом и семасиологией—также и Рис в своей книге „Was ist Syntax" (1894, стр. 78—79), который считает, что синтаксис и семасиология не члены одного деления, но являются понятиями скрещивающимися. На морфологию и семасиологию (in Formenlehre und Bedeutungslehre), говорит он в заключении (стр. 142), распадается как учение о слове (Wortlehre), так и синтаксис. Но и предложенную Рисом схему нельзя считать неуязвимой, и поэтому мы предлагаем новую схему деления языкознания, которая, как нам кажется, устранит целый ряд путаниц в языкознании, и в том числе борьбу формального и семасиологического принципов в грамматике, но предварительно мы рассмотрим слово со стороны его грамматической природы, которая находится в связи с его морфологическим составом.

Слово, как уже было сказано, сводится к процессам ассоциации слухового моторного или зрительного представления с известными элементами значения, определенными представлениями или понятиями.

Но если мы рассмотрим такое слово со стороны морфологического состава, мы увидим, что оно не является цельной, неразложимой единицей; оно представляет, в сущности, комплекс морфологических элементов: корней, префиксов, суффиксов, инфиксов, флексий, которые лингвисты в своих трудах объединяют под одним общим названием морфологических принадлежностей.

Таким образом, слово, кажущееся нам простым, единичным, так сказать, процессом ассоциации внешнего знака с определенным значением, представляет, в действительности, сложную сумму нескольких быстро и непроизвольно протекающих ассоциационных процессов в их конкретном слиянии. И каждый звуковой элемент, вступающий в ассоциацию с известным реальным или формальным признаком, можно рассматривать как определенную семантическую единицу, как отдельное слово, что мы, в действительности, и можем наблюдать в корневых языках, как напр., в китайском.

Что эти отдельные семантические единицы, действительно, имеют свое самостоятельное существование в уме говорящих, указывает, по мнению проф. Богородицкого (Лекции по общему языковеден., 2, Казань 1915, стр. 155 сл.), то обстоятельство, что мы можем какую-нибудь одну морфологическую принадлежность, напр., флексию род. пад. ед. ч. ср. р.—*а* бессознательно выделить из ряда слов (окн-а, сел-а и др.) и сочетать её с новой основной принадлежностью, напр. *пальт*,—в результате чего получится так называем. новообразование по аналогии: *пальт-а*, (см. VIII-ю главу).

Морфологические части или принадлежности слов мы подразделяем на основные и формальные.

Первые обозначают реальные признаки представлений, получаемые из ощущений, вторые—являются обозначением формальных признаков, а именно, известных отношений между представлениями или между признаками или обозначением более общих модификаций реального признака.

К формальным принадлежностям мы относим, во-первых, аффиксы, т.-е. такие принадлежности, которые сочетаются с основой, но отдельное существование которых от нее легко вскрывается этимологическим анализом, и затем „флексии основ“.

По взаимному расположению в слове основной принадлежности и аффиксов мы подразделяем последние на префиксы, инфиксы и суффиксы.

Если аффикс помещается перед основной, он называется префиксом или приставкой.

Примером префикса является приращение *ε* в греческом и *a* в древне-индийском, служащее признаком прошедших исторических времен. В русском языке приставка может изменить вид глагола: так, приставка по—превращает глагол *ити* в глагол совершенного вида (пойти).

Инфикс или вставка звука внутри основы в редких случаях встречается в древне-индийском и латинском языках. Так, основа настоящего времени латинск. глагола scind-o отличается от основы perfect'a scid-i своим вставочным *n*.

Третий вид аффиксов—суффикс является характерной принадлежностью всех индо-европейских языков. Группу суффиксов, объединяющих падежные и личные окончания, которые меняют внешний вид, форму слова, называют флексиями.

В некоторых случаях носителем формы становится отсутствие окончания, напр., в имен. п. ед. ч. слов муж. р. (кон, конь), так как стоящий в конце второго слова ъ (а в старом правописании и ъ в конце первого слова) обозначает лишь мягкость (и твердость) конечного согласного. Отсутствие окончания является здесь признаком грамматической формы, подобно тому, как бесхвостость является отличием семейства человекоподобных обезьян (Пешковский, Русск. синтаксис в научном освещении [2], 1920, стр. 9).

Совершенно с иным смыслом акад. Ф. Ф. Фортунатов ввел термин „флексия основы", которым он обозначает изменения части самой основы (удвоение основы, известное древним языкам, удлинение коренного гласного, напр., в глаголе многократного вида: ношу, нашивать; наконец, смягчение коренного гласного, известное в немецк. яз. под названием Umlaut, и некоторые другие).

Подобного рода изменения основы, являющиеся выражением какого-нибудь семасиологического различия (напр., смягчение в немецк. яз. Hand-Hände, служащее признаком множ. числа), становятся семантическими единицами, известного рода формальными принадлежностями.

Следует заметить что инфикс также меняет вид основы, но всё-таки подобного рода изменение отличается от „флексии основы:“ инфикс как бы существует *над основой*; мы легко можем выделить это вставочное *n* в слове scindo, и в результате получится прежняя неизменная основа. Внутренняя-же флексия выражается не в прибавлении новых звуков, а в изменении сущности самой звуковой стихии основы.

Внешним звуковым выражением, носителем формальной принадлежности, кроме аффиксов и флексий основы, могут служить также и другие средства языка: порядок слов, который в некоторых языках является условием различения подлежащего от дополнения, затем ударение: ноги́—форма род. пад. ед. ч., но̀ги—ф. имен. пад. мн. ч.

На основании семасиологического различия мы все формальные принадлежности делим на основообразующие и синтаксические.

Первые обозначают или различные модификации реального признака, выраженного в основной принадлежности (суффикс *оват*—в прилагательн. *бел-оват-ый* указывает на слабую степень качества белизны) или обозначают признаки, общие более широким по объему классам явлений, напр., суффкс *тель*—(учи-тел-ь сея-тел-ь), общий множеству слов, обозначающих действователя (nomen agentis).

Вторые обозначают, главным образом, отношения между представлениями: глагольные, падежные окончания.

Обычно одна и та-же формальная принадлежность выполняет одновременно функции осново-образовательной и синтаксической, напр., окончание род. п. ед. ч. м. р.—*а* (*отц-а*), указывающее на известное отношение к другому предмету, а также на единичность и на муж. род, но, в сущности, синтаксическое значнение значительно превалирует, „словообразовательный“ же оттенок значения почти не чувствуется (см. Пешковского „Русск. синтакс.“, стр. 39): окончанием—*а* в приведенном слове подчеркивается не то, что идет речь об одном отце и не то, что это слово муж. р., а именно *принадлежность* отцу какого-то предмета (дом отца) или же какое-нибудь другое отношение к *отцу* (был у отца и т. д.).

Устанавливаемые синтаксическими формальными принадлежностями типы отношений между предметами и их признаками отличаются также своей общностью и представляют отвлечение мысли.

Указанные формальные принадлежности слова служат главным условием образования грамматических разрядов слов или так называемых грамматических категорий (собственно, не всех, а только форменных слов), Основанием этого возникновения категорий является ассоциация по сходству.

На основании повторяющейся в ряде слов какой-нибудь морфологической части, напр., суффикса *тел* (ъ) в словах делател-ь учи-тел-ь и друг., мы объединяем слова с таким окончанием в определенную грамматическую категорию имен действователя (nomen agentis). Категория грамматическая может отличаться большей или меньшей степенью общности. Так, напр., на основании общих окончаний им. пад. ед. ч. ж. р.—*а* мы объединяем огромное большинство слов в еще более общий грамматический разряд имен существительных женск. р.

Психологические основания зарождения грамматической формы Пешковский (Русский синтаксис в научном освещен. [2], стр. 6—7) наглядно изображает следующим образом. Чтобы данное слово *стекло* обладало грамматической формой, необходимо, по его мнению, существование в нашем сознании двух рядов—вертикального и горизонтального:

Стекл-о, окн-о, весл-о и т. д.
стекл-а
стекл-янный
стекл-ушка
стекл-ышка и т. д.

В вертикальном ряду слово *стекло* объединяется с другими словами своей основной принадлежностью, в горизонтальном же ряду ассоциация этого слова с другими обусловлена общностью формальной принадлежности.

Если слово неспособно к распадению на две части, связывающие его с двумя такими рядами, оно является бесформенным.

Итак, сущность грамматической формы с внешней, звуковой стороны определяется отчетливо различаемыми от основных принадлежностей принадлежностями формальными (точнее, как увидим дальше только окончаниями, т.-е. синтаксическими формальными принадлежностями), которые, объединяя различные группы слов, служат как бы критерием грамматической категории; с внутренней же, семасиологической стороны отличительная черта грамматической формы заключается в том, что она обозначает более широкие обобщения нашей мысли, обозначает различные отношения или же известные абстракции, но не конкретные признаки, каковые обозначаются основными морфологическими принадлежностями.

Во многих языках (формальных и агглютинирующих) мы находим следующие общие категории или разряды слов: во-первых, слова обозначающие представления, понятия и отношения между ними, и во-вторых, слова, служащие непосредственным выражением чувств, или междометия. Последние, являясь выражением эмоционального переживания, не обладают, в сущности, грамматической формой, и потому мы их не можем считать особой грамматической категорией в строгом смысле слова. Но и первая бо́льшая группа, в свою очередь, распадается на слова форменные и бесформенные. Видный представитель формального направления Пешковский в своих работах (Русский синтаксис в научном освещении [2], стр. 43; Школьная и научная грамматика [2], стр. 11 и сл.) все форменные слова предлагает делить на такие семь разрядов: глагол, существительное, прилагательное, причастное наречие, деепричастие и инфинитив. Таким образом, в классификации Пешковского в самостоятельные категории выделены деепричастие и инфинитив, но, с другой стороны, здесь не видим ни числительных, ни местоимений, из которых одна часть отходит к существительным (не изменяющиеся по родам), другая—к прилагательным (те местоимения и числительные, которые изменяются по родам).

Классификацию Пешковского нельзя считать неуязвимой. Ее первый недостаток заключается в том, что она

игнорирует категории бесформенных слов (предлог и союз), отличающиеся столь характерными признаками в словосочетании, второй недостаток можно усмотреть в невольном стремлении к компромису со старой школьной грамматикой.

На эти недостатки и было указано проф. Будде (Ж. М. Н. Пр. за 1914 г. № 12, Вопросы методологии русского языкознания, 1917, стр. 93 и сл.), который и предлагает более простую и более последовательно проводящую формальный принцип классификацию. Все слова (исключая лишь междометия) он сводит к следующим частям речи: существительному, прилагательному, глаголу, наречию, предлогу и союзу.

Классификацию Будде мы должны признать более удачной. Во-первых, нет надобности из-за формальных глагольных признаков (форм времени, вида и залога) второстепенной важности относить причастие и деепричастие в особые категории, так как этим мы игнорируем их первостепенные признаки синтаксического характера. Нет нужды также выделять инфинитив в отдельную категорию *).

Такое же сочетание формального и семасиологического моментов мы видим у Пешковского и в определении этих категорий; двойственность эта объясняется тем, что в своих определениях Пешковский почти всецело следует Потебне, которого совершенно неосновательно провозгласили у нас родоначальником чистого формализма. В его „Школьной и научной грамматике“ перевес, правда, получил формальный принцип; имя существительное здесь определяется как слово, изменяющееся по числам и падежам, прилагательное—как слово, изменяющееся по падежам, числам и родам, глаголу дается определение как слову, изменяемому по лицам, числам, временам, наклонениям и видам и т. д. Но всё-таки немного ниже (на 16 стр.) Пешковский определяет три главных категории и со стороны смысловой, повто-

*) Я расхожусь, однако, с Будде по вопросу о том, куда же следует отнести эту форму. Он относит ее к глаголу, я-же считаю наиболее правильным относить ее к существительному. Об этом см. ниже.

ряя, между прочим, определения данные уже в „Русском синтаксисе“ (они будут приведены ниже).

В строго формальном духе выдержано определение грамматических категорий у Будде (Вопросы методологии, стр. 95).

Деление категорий по формальному принципу принято было под влиянием работ Пешковского в 4-м издании книги Поржезинского „Введение в языковедение“ (1916, стр. 148); подразделив все форменные слова на 1) склоняемые, 2) склоняемые с формою согласования в роде и 3) спрягаемые, он этим трем классам противопоставляет большой класс неизменяемых слов—наречий.

В последнее время формальное направление в грамматике стало самым боевым вопросом, и в Москве оно развивается даже под правительственным флагом. Формальная грамматика проводится в официальных программах; „Русский синтаксис Пешковского“ в циркулярном порядке рассылается преподавателям; наконец, одним из циркуляров Учебного Управления ГУВУЗ'а предложено главруками по русскому языку назначать исключительно лиц, придерживающихся формально-грамматического направления (см. „Родной язык в школе“, кн. 1-я, 1923 г., стр. 4). Новые взгляды популяризируются в школьных учебниках по грамматике (Гиппиуса, Горового, Соколовых); в духе тех же идей перерабатываются старые учебники, напр., „Синтаксис“ Петрова, вышедший в 1919 г. 29-м изданием под редакцией проф. Ушакова.

Но то „двоеверие“, та шаткость в принципах у современных педагогов и у авторов новейших учебников по грамматике, которую так беспощадно бичует правоверный последователь формализма Андрей Павлович (в статье „Между Сциллой и Харибдой“, Родн. яз. в школе, № 1), с другой стороны, те крайности, до которых он договаривается в своем стремлении быть последовательным (напр., признание предложения „Он—добряк“ и ему подобных своеобразными конструкциями без сказуемого; см. стр. 21) убеждают нас в том, что с помощью одного формального принципа обойтись нельзя.

Уже из того обстоятельства, что морфологическое деление слов на принадлежности основано на смысле,

вытекает то, что изучение морфологии должно быть параллельным семасиологии, и вот посему мы, не боясь упреков в „двоеверии", в тяготении к старой логической грамматике, постараемся найти почву для примирения, точнее для взаимного сведения, формального и семасиологического принципов грамматики.

С семасиологической стороны имя существительное определяли как название предмета, прилагательное—как название действия. Но такое определение противоречит многим случаям: в действительности, как глагол *поет,* так и существительное *пение* одинаково являются названиями действия, с другой стороны, не только прилагательное *белый*, но и существительное *белизна* в одинаковой степени обозначают признак.

Заметив неточность обычных определений частей речи, Потебня в I т. своей диссертации „Из записок по русской грамматике" дает другие определения названным категориям, при чем за отправную точку принимает определение личного глагола, который он считает основой всякого предложения.

Глагол, по определению Потебни, обозначение признака во время его возникновения, имя же (существительное и прилагательное)—воспоминание о признаке, уже данном.

Сравнивая затем два названия признаков *белый* и *белизна,* Потебня выясняет разницу между прилагательным и существительным, состоящую в том, что прилагательное является обозначением признака, данного в предмете, в то время как в существительном этот признак мыслится уже отделенным от своего носителя. Но постепенно в большей части существительных обозначенный признак забывается, и существительное превращается только в название грамматической вещи как носителя или вместилища признаков, из которых ни один, в частности, признак может и не сознаваться.

Эти семасиологические, исправленные Потебней определения в несколько измененной формулировке приняты и Пешковским (форма существительного обозначает пред-

мет, прилагательное — признак, заложенный в природе предмета, глагол—признак, производимый деятельностью предмета).

Причина ошибочности прежних определений частей речи заключается в том, что они игнорируют психологическую природу слова, которое, как мы видели в первой главе, является процессом ассоциации знака, т.-е. слухового, двигательного или зрительного представления с элементом значения, т.-е. таким же представлением, имманентным области психического.

Таким образом, слово мы должны считать обозначением не самых предметов, их действий и признаков, а лишь соответствующих представлений этих предметов, действий и признаков. И в таком случае мы получаем основание для совершенно иного, уже чисто психологического определения грамматических категорий, каковое и было намечено проф. Богородицким в его „Общем курсе русской грамматики“ (изд. 2, Казань, 1907).

Так, по поводу имени существительного он говорит, что оно „обозначает собственно одно цельное субстантивное представление“ (стр. 127), глаголы же, по его определению, служат „для выражения наших представлений или действия в его совершении субъектом или же состояния последнего, напр., *несу, спит*“ (стр. 187).

В психологическом духе давал определения покойный акад. Шахматов в своих курсах по синтаксису. Так, напр., существительное он определял как „часть речи, соответствующую, во-первых, представлению о субстанции, во-вторых, представлению о качестве — свойстве или действии — состоянии, мыслимом вне сочетания с носителями или производителями их“ (см. Бернштейн „Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шахматова“, Изв. отдел. русск. яз. и слов. Росс. Акад. н., т. XXV, стр. 223). Психологической формулировке, данной грамматическим категориям, уже не будут противоречить такие примеры как существительные *пение, белизна,* которые являются обозначением представлений опредмеченных действий и признаков. Правда, это опредмечивание действий и признаков в нашем сознании и, вообще, психологическое передвиже-

ние представления из одной категории в другую обязано тому же языку, который комбинирует корни одной категории с суффиксами другой (бел-из-н-а). Приведенные психологические определения я считаю совпадающими с определениями, данными Потебней, так как обозначаемая с помощью языка самостоятельность признака или же его данность в предмете — факты чисто психологического порядка.

Рассмотренные семасиолого-психологические определения частей речи совпадают с синтаксическими их определениями, что должно уже явствовать из тесной связи морфологии и синтаксиса, о которой у нас будет речь впереди. Что такое, в сущности, представляет собой определение существительного, как самостоятельно существующего признака или же носителя признаков или как обозначения опредмеченного, субстантивного представления, — как не его потенциальную способность именно быть предметом мысли, (главным или второстепенным), т.-е. способность в словосочетании, именуемом предложением, проявиться в роли подлежащего или дополнения. Определение же прилагательного как признака, данного в предмете, является перефразировкой синтаксического определения прилагательного, как определения к названию предмета в предложении. А разве определение глагола (а глаголом в собственном смысле являются только личные формы, так как неличные его формы относятся к другим грамматическим категориям) как обозначения действия, совершаемого субъектом, не совпадает с определением простого сказуемого?

В сказуемом, как правильно замечает это Пешковский, могут выражаться различные отношения к подлежащему (сосуществования, последовательности и др.), но чудесная особенность нашего языка такова, что он, под интуитивным влиянием, может быть, только что совершившегося психологического акта апперцепции, все типы отношений сказуемого к подлежащему представляет только в виде живой деятельности субъекта; вследствие этого и создалась привычка нашего языка видеть в глаголе непременно сказуемое,—привычка, препятствующая нам в слове дом (горит дом) видеть ска-

зуемое, что и обусловливает разницу между психологическим и грамматическим предложением.

И это формальное значение глагола — сказуемого иногда явно противоречит реальному. Так, напр., говорит Пешковский, „вещественное значение глагола „ленюсь“ — *ничего не делаю*, формальное—*нечто делаю*“ (стр. 50). „Нам смешна, говорит он немного ниже (стр. 52), школьная формула: „что сделал? умер“. На самом деле эта формула грамматически безупречна“.

Эта „чудесная особенность нашего языка“, равно как, напр., приобретение глагольным корнем именного характера благодаря именному суффиксу обязано процессам ассоциации по сходству и смежности: сочетаясь обычно с корнями, обозначающими действие, глагольный суффикс и в тех случаях, когда он вступает в сочетание с корнем первоначально не глагольного характера, придает ему в результате ассоциации, также характер действия (resp. состояния), срв., напр., *черн-еет лен-ится*, *умер*—.

Это основанное на ассоциации приобретение значения живой деятельности субъекта всеми глаголами является процессом, совершенно однородным с теми семасиологическими изменениями, которые были рассмотрены в общей семасиологии. Если формальные признаки имени, первоначально принадлежавшие именным корням, позже начинают сочетаться с глагольными корнями и этим субстантивируют их, такое создание новых существительных будет своего рода метафорой. Это метафорическое значение подлежащего и сказуемого (resp. всякого имени существительного и глагола, скажем мы), а именно, способность первого возбуждать в нас представление субстанции, способность же второго—возбуждать представление действия или страдания—Марти (Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie, 1908, стр. 135) относит к разряду „фигурных внутренних форм“ (figürliche innere sprachform) *).

---

*) Как мы увидим в следующей главе, в области падежных форм первоначальное пространственное значение падежей также играло роль внутренней формы для более позднего—не-пространственного их значения.

Термин „внутренняя форма“, примененный к области грамматических явлений и нужно понимать в таком значении, в каком он был введен в общую семасиологию Штейнталем для обозначения прежнего значения слова, как элемента, сознаваемого при его новом применении. Это еще раз подтверждает доказываемую нами мысль, что синтаксис является частью семасиологии.

Способностью служить простым сказуемым не обладают причастия, деепричастия и неопределенные наклонения. Последние (ходить, петь), подобно отглагольным существительным (хождение, пение), могут являться в предложении в роли подлежащего и дополнения, и потому мы их считаем существительными, а не глаголами.

Определение неопределенного наклонения как имени, разделявшееся, между прочим, и Буслаевым (Историческ. граммат., стр. 143 след.) вызывает, однако, не мало возражений.

Так, Штейнталь, ссылаясь на одно письмо Гумбольдта, видит в infinitiv'e выражение чистого движения, энергии. „Er ist also das Verbum an sich, reiner Ausdruck der Energie, der Bewegung (Grammat., Log. und Psychol.. стр. 369).

Отчасти, может-быть, под влиянием Штейнталя, как полагает проф. Грунский (Очерки по истор. разработки синтакс. славянск. язык., т. I, стр. 37), но, главным образом, основываясь на большей предикативности неопределенного наклонения в языке древних памятников, Потебня старается доказать, что неопределенное наклонение в синтаксическом отношении является глаголом. „Несмотря на то, говорит Потебня (Из запис. по русск. граммат., II, стр. 280), что в числе защитников совершенной номинальности этой формы были знаменитые в языкознании имена (напр., Бопп), в настоящее время можно считать решительным и прочно господствующим мнение, что инфинитив только некогда был именем, но не остался им, или как говорят иначе, что он есть имя в этимологическом и род глагола в синтаксическом отношении“.

Исходя из той же глагольности неопределенного наклонения, сходные взгляды проводил и Миклошич в своем „Vergleichende Syntax“.

Высказанные Потебней мысли встретили возражения проф. Будде (Ж. М. Н. Пр. 1893 г., стр. 231). Последний, основываясь на легкости превращения неопределенного наклонения в отглагольное имя существительное во французском и немецком языках (нем. leben das Leben, фр. être-l'être), старался доказать их взаимную близость. Но в своей книге „Вопросы методологии русск. языкознания" (стр. 95—96) Будде инфинитив считает уже глаголом.

В I т. своих „Очерков по истор. разраб. синт. слав. язык", посвященном учению Потебни, проф. Грунский также считает неопределенное наклонение глагольной формой, хотя и особой формой, приближающейся, отчасти, к имени существительному.

Главным фактом, склоняющим его в пользу мнения о глагольности неопределенного наклонения, является замена его в болгарском языке чистой глагольной основой без окончания. „Окончание здесь сделалось ненужным, потому что этой формой выражается именно то, что заключается в глагольной теме" (ibid., стр. 39).

Но во II т. своих „Очерков" при разборе соответствующего мнения Миклошича проф. Грунский видимо склоняется уже к противоположному взгляду, основываясь на том, что неопределенное наклонение в синтаксическом отношении может овладевать и функциями имени существительного" (Очерки, т. II. стр. 30).

В противоположность мнению Потебни и Миклошича и согласно с ранним мнением Будде и других ученых, я считаю, что неопределенное наклонение именно в синтаксическом отношении представляет существительное, что обусловливается его функцией в предложении, в этимологическом-же отношении оно происходит от глагольной основы, осложненной или суффиксом местн. пад. ед. ч. (Кульбакин, Древьне-црькъвьныи словѣньскыи языкъ) или суффиксом дательн. пад. ед. ч., как полагают некоторые другие ученые (Вондрак, Verglecihende slavische Grammatik).

Указанная Потебней предикативность неопределенн. наклонения не подрывает защищаемого нами взгляда, так как неопределенное наклонение является не в простом

сказуемом, как личный глагол, а в составном сказуемом, заменяя обычно его именные члены. Для подтверждения нашей мысли напомню еще о том, что в греческом, а под его влиянием, и в старо-словянск. языке употребляется неопределенное наклонение и с членом: еже впасти (Пример из „Историческ. граммат." Буслаева, стр. 144).

Привожу еще примеры: О не помьнѣти вражъды (в Оглавлении Евангел. от Марка в Мариинск. Евангелии); в греческ. евангельском тексте: *τὸ δέ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον* (Еванг. от Матфея, гл. XV, ст. 20).

Другую именную форму глагола — причастие, я в согласии с Будде, но не только на формальных основаниях, но также и на семасиологических, отношу к имени прилагательному, к рассмотрению которого и перехожу теперь.

Потебня определяет прилагательное как название признака, не отделенного от носящего его предмета.

Синтаксическое значение этого определения следующее: признак, обозначенный прилагательным, мыслится находящимся в другом предмете, и потому назначение прилагательного в предложении — служить определением к имени предмета, к подлежащему или дополнению.

Прилагательное, определим мы, есть грамматическая категория слов, являющихся названием признака и служащих в предложении определением.

„Определение есть прилагательное в его истинной роли", несколько иначе формулирует эту же мысль Пешковский (Русский синтаксис, стр. 169).

Но прилагательное может, однако, само заменять подлежащее (пеший конному не товарищ), но в таких случаях правильнее будет считать прилагательное или определением при подразумеваемом подлежащем (пеший человек) или же именем существительным. Потебня первое время не считал эти прилагательные в роли подлежащих ни атрибутами опущенного существительного, ни существительными, „потому что комплекс признаков, к коему относится данный, неопределим" (Из запис. по русск. граммат., т. I, стр. 120).

„В настоящее время, говорит вслед за этим Потебня, эта неопределенность может быть умышленная, но нетрудно представить себе такое состояние мысли, когда определенность субстанции совершенно недостижима и когда человек не мог говорить иначе, как в таком смысле: то, что бито“ (в предложении „битый небитого везет“).

Но в III ч. своих „Записок“ Потебня, однако, отказывается от этого неправильного взгляда и признает уже субстанциональность подобных прилагательных и причастий, являющихся в роли подлежащего. Можно указать на целый ряд таких субстантивированных прилагательных и причастий: домовой, раненый, мороженое и друг. Основываясь на этом переходе прилагательных и причастий в существительные, Пешковский также склонен считать подобного рода прилагательные и причастия, употребляемые в значении подлежащего, существительными. (Русский синтакс. в научн. освещен., стр. 57, 58, 139).

Наречию мы также должны дать определение согласно с его ролью в предложении. Наречие определяют иногда как часть речи, обозначающую, в противоположность прилагательному, признак не предмета, но действия, состояния или, вообще, признак другого признака (*хороший* человек поступает *хорошо*). Но, как мы уже говорили, способность обозначать различные модификации признака и действия является имманентной не грамматическим категориям, а лишь членам предложения, и потому и способность обозначать признак действия или состояния мы должны считать прежде всего критерием не известной части речи, а особого члена предложения — обстоятельства, и лишь в связи с последним определится наречие, как особая грамматическая категория слов, служащих в предложении обстоятельством.

„Как личный глагол, говорит Потебня, есть тем самым сказуемое, как имя в именительном, несогласуемое с другим, есть подлежащее, имя в косвенном падеже, несогласуемое с другим, есть дополнение, а согласуемое имя в любом падеже есть определение или часть

сказуемого, так и обстоятельству присвоена особая форма, наречие. (Из запис. по русск. граммат., I, стр. 151).

А так как обстоятельство — наречие всегда относится к сказуемому — глаголу и к прилагательному определению, т.-е. не к предмету, а к признаку (данному или производимому), то поэтому из приведенного синтаксического определения наречия вытекает у Потебни соответствующее семасиологическое: „наречие — признак признака".

Мысль о соответствии частей речи членам предложения Потебня развивает в X гл. 1-й части своих „Записок по русской грамматике" — „Члены предложения и части речи", позже она высказывалась Дельбрюком в его „Einleitung in das Sprachstudium".

Эту же мысль проводит и Пешковской в XIV гл. своего „Русского синтаксиса", носящей название „Отношение подлежащего и сказуемого к частям речи". Но стремление согласовать части речи и члены предложения встречает пока не мало затруднений. В трудностях этих убеждают, между прочим, проф. Грунского недостатки в классификации Дельбрюка, устанавливающей тождество частей речи и членов предложения.

Еще больше обнаруживается превалирующее значение синтаксического принципа при определении бесформенных, т.-е. неизменяемых категорий слов, которое поэтому и представило серьезные затруднения сторонникам формального принципа.

Пешковский, как мы видели, их совершенно обходит молчанием. Павлович-же (Родной язык в школе, № 1, стр. 19) так и заявляет, что „за исключением наречий, имеющих форму и бесформенных, все остальные не изменяемые слова должны рассматриваться не в морфологии, а синтаксисе".

Игнорирование Пешковским бесформенных слов вызвало, как известно, возражения Будде, который и дает всем неизменяемым частям речи (включая и наречие) формальное, но выдержанное в синтаксическом духе определение и потому для нас приемлемое. Наречия он определяет как „исконно-неизменяемые части речи, группирующиеся около глагола в словосочетаниях

и неспособные к управлению другими частями речи, а равно неспособные служить соединительными словами в словосочетаниях" .(Вопросы методологии, стр. 97), предлог—как неизменяемую часть речи, которая управляет каким-либо из косвенных падежей (ibid.), союз—как „соединительное слово, которое в словосочетании соединяет слова этого сочетания, находясь между ними и не влияя на их форму" (стр. 98).

Давши очерк синтаксической природы частям речи, следует, однако, заметить, что нельзя искать строгого параллелизма между родами и видами морфологических категорий, с одной стороны, и родами и видами синтаксическими с другой: нити соответствия от двух, а иногда более коррелятов одной стороны часто сходятся в одном корреляте противоположной стороны. Напр, существительному не соответствует определенный член предложения, а несколько членов — подлежащее, дополнение и сказуемое в предложениях известного типа. Если-же мы захотим более точно установить здесь соответствие, мы увидим, что каждому из названных членов предложения соответствует определенная падежная форма имени, а именно, подлежащему соответствует имен. под., дополнению—косвенные падежи и т. д.

Но, может быть, здесь и нет никакого нарушения параллелизма. Может быть, в сущности, формы падежей существительного не ближе стоят друг к другу, чем каждая из этих форм к прилагательному и чем, с другой стороны, подлежащее стоит к дополненюи. Может быть, мы привыкли обобщать разные формы падежей под одним названием существительного лишь под влиянием грамматических руководств, где они и объединяются в парадигмах или же может быть, этому объединению способствует одинаковая основа (*отц—а, отц—у* и т. д.). Но ведь, от той же основы образована форма прилагательного *отц—ов,* к каковой по происхождению и близка одна из падежных форм, а именно, форма род. п. Вундт (Völkerpsychologie II, стр. 100—105) говорит о том, что главными средствами первоначального выражения род. п. служили местоименные корни

Possessivpronomina и Demonstrativpronomina), лежащие обычно и в основе формы прилагательного. В другом же, месте (стр. 56), уже по поводу местоимений Вундт заявляет: „ist das Possessivum (относимое нами к прилагательному) ursprünglich der Genitiv des Personalpronomens".

Итак, мы видим, что лишь местом слова в предложении, лишь взаимоотношениями с другими членами предложения определяется грамматическая природа слова. Слово же, вырванное из речи, не функционирует, говорит Потебня.

Но, однако, в языках, не утерявших еще флексического материала, носителями грамматической формы являются, кроме того, флексии и суффиксы. Таким образом, критерии грамматической категории могут существовать в формальных принадлежностях слова, независимо от его синтаксического употребления. И вот, на основе этих чисто формальных отличий сторонники формального принципа стараются дать такие определения грамматическим категориям, в которых совершенно не затрогивалась бы смысловая сторона. Этот внешний признак грамматической формы имеет в их глазах такой перевес над ее внутренним синтаксическим значением, что они никак не соглашаются признать за существительное несклоняемое слово, напр., *какаду*; не соглашаются затем признать за существительное другую часть речи, явившуюся в роли подлежащего, напр., хотя бы союз и междометие в предложениях: „*и*—союз", „могучее *ура* пронеслось по равнине". Чтобы быть последовательным в своем формализме, А. Павлович по поводу предложений с такими подлежащими заявляет, что „здесь мы имеем дело с конструкциями без подлежащих" (Родн. яз. в школе I, стр. 22).

Но, однако, как союз *и*, так и междометие *ура* безусловно субстантивируются, являясь в роли подлежащего, что во французском языке легко обнаруживается благодаря легкости сочетания почти любого слова с членом le, l'.

Эти внешние грамматические признаки, создающие форму и вводящие слово в известный грамматический

класс независимо от синтаксической роли слова в предложении, и препятствуют утвердиться взгляду, устанавливающему зависимость частей речи от роли слова в предложении. *)

Но если мы представим себе слово без флексий и суффиксов, т.-е. мысленно перенесемся в корневое состояние языка, когда корни, соответствующие нашим основным принадлежностям, очень легко вступают в ассоциацию с корнями, соответствующим формальным принадлежностям, тогда мы скоро сможем убедиться в правильности установленного нами взгляда на значение частей речи. Примеры такого превращения может дать французский язык, в котором определенный член *le*, *l'* легко превращает любое слово в имя существительное, с помощью же предлогов *de*, *à* получается та или иная падежная форма. Ясно, что в таком корневом состоянии нет постоянных частей речи. Все категории возникают лишь при каждой новой ассоциации в зависимости от психологической роли в предложении. Следовательно, в данном состоянии у языка нет морфологии, а есть только один синтаксис.

Но если даже нам предложат спуститься с философских высот „всеобщей“ грамматики и ограничить свои интересы и наблюдения областью грамматики одного лишь из многих формальных языков, а именно— русского языка, мы должны будем все-таки пересмотреть предлагаемые русскими педагогами формальные определения и выбрать те, которые не противоречили бы научным семасиологическим определениям.

По поводу определения существительного как склоняемого слова можно заметить следующее: склоняемость не является столь существенным признаком, так как многие иностранные слова, проникшие в русский язык и не подошедшие по своим окончаниям под какой-нибудь образец склонения (*какаду*, *паспарту* и др.), затем ряд русских фамилий (Резник, Бойченко), относящихся к особам женского пола, обычно не склоняются;

---

*) Благодаря тем же внешним признакам в формальных языках определение грамматического предложения будет отличаться от определения психологического суждения, о чем у нас еще будет речь ниже.

однако, нет основания все эти слова не считать существительными.

При большей степени морфологической гибкости, т.-е. если бы русский язык стоял ближе к корневому состоянию, в нем могло бы подвергаться изменению по падежам и числам любое слово. Однако, и русский язык в известной степени при некоторой смелости говорящего может несклоняемое слово, в связи с синтаксической ролью последнего, сдвинуть с точки морфологической неподвижности. Пример употребления междометия в им. п. множ. ч. приводит Овсянико-Куликовский (Руководство к изучению синтаксиса русск. яз., 1907, стр. 25): „все эти *ахи* и *охи* так надоели". Такие звукоподражательные существительные как *треск*, *плеск* возникли, должно быть, из междометий.

Пересмотрим теперь все возможные определения прилагательного по формальному принципу.

Можем-ли мы его особое склонение, отличное от именного, считать отличительной его чертой? Нет, эта формальная особенность не имеет серьезного значения. Мы знаем, что когда-то нечленные прилагательные склонялись в словянском, как существительные; в санкр. же, греч. и латинск. и др. языках склонение прилагательных было, вообще, одинаковым со склонением существительных; с другой стороны, в словянских языках существительное могло принимать членную форму: срв. ст.-слов. дѣва-ѧ, польск. boginia, do boginiei.

Еще менее существенным отличием может быть признано, конечно, изменение прилагательных по степеням сравнения, потому, что по этим категориям изменяется наречие, а иногда и другие части речи: срв. др.-русск, *звѣрѣе* от *звѣрь*, *бережее*—т.-е. ближе к берегу; болг. *наш — дворянинъ* в грам. 1480 г. совр. болг. *по-юнакъ*, *по обичамъ* (Лавров, Обзор звуков. и формальн. особенностей болгарск. языка, стр. 178; Щепкин, Учебн. болг. яз., стр. 37), в других и.—евр. языках: др.-инд. *kavitara*, *kavitama*— лучший,—самый лучший поэт; греч. *βασιλεύτερος*, *βασίλεύτατος* (Дельбрюк, Vergleichende Syntax der indogerman. Sprachen, I ч., стр. 415); во-вторых, потому, что это изменение прилагательных не является широко-

распространенных формальным отличием; известно оно только в индо-европ. языках (Вундт, Völkepsyhologie, 2 ч., стр. 10).

Самой важной чертой прилагательных формалисты считают их способность изменяться не только по падежам и числам, но также и по родам. Однако, не говоря даже о том, что с точки зрения всеобщей грамматики эта особенность не имеет абсолютного значения, так как в урало-алтайских языках прилагательные не изменяются по родам, с другой стороны, в готтентотском языке, напр., могут подвергаться изменению по родам и существительные, указанная черта и в рамках одного лишь русского языка может иметь характер решающего критерия лишь тогда, если, незаметно, может-быть, для самого формалиста, опирается на смысловую сторону. Если сторонник формального принципа, признающий вслед за Пешковским, слова *городовой*, *раненый* существительными на основании того, что эти слова (хотя и склоняющиеся по типу прилагательных) застыли в форме одного рода, т.-е. потеряли уже способность изменяться по родам—он сделает подобное заключение лишь наугад, бессознательно приняв их за названия определенных предметов и, несомненно, он ошибся-бы, если-бы оказалось, что эти слова входят в словосочетания городовой врач, раненый зверь, так как в этих словосочетаниях мы имеем уже дело с чистыми прилагательными, способными к изменению по родам (городовое положение, раненая птица). Следовательно, для того, чтобы решить, чем является по своей грамматической форме слово *городовой*, мы должны знать, что означает это слово—предмет или признак другого предмета, т.-е. должны знать его формально-семасиологическую сторону, а для этого достаточно знать лишь его роль в словосочетании. Достаточно знать, что оно служит другому слову—названию предмета—определением его признака, чтобы заключить, что слово, явившееся в этой синтаксической роли, будет прилагательным. В формальных языках выражением этого отношения является *грамматическое согласование* в роде, числе и падеже; в неформальных языках это согласование будет только внутренним, семасиологическим. Для нас именно

важен не факт изменения прилагательн. по родам, а синтаксический факт согласования и посему мы, не затемняя в данном случае вопроса историзмом, слова *он, она, оно* признаем не прилагательными, хотя они и изменяются по родам, а существительными*) Но все-таки изменению прилагательного по родам, поскольку с ним связывается выражение зависимости от существительного („die Wandelbarkeit des grammatischen Geschlechts, eine unmittelbare Folge dor Abhängigkeitsbeziehung vom Substantiv...“ Wundt, Völkerpsychologie, II, стр. 10) мы придаем больше значения, чем остальным его формальным признакам: самое изменение прилагательного по родам и вызывается, ведь, грамматическим родом имени, к которому оно относится; в изменении этом, следовательно, и заключается залог его способности быть согласуемым определением.

Легче и проще определяется глагол вследствие более ограниченной его способности—быть только простым сказуемым, хотя и он также может субстантивироваться: „поет—глагол“. Признание главной отличительной чертой глагола его спрягаемости, т.-е. способности изменяться по лицам и числам, совпадает с определением так-называемого простого сказуемого, так как сказуемое—глагол и является действием, производимым каким-нибудь предметом, и как действие оно должно совершаться, конечно, во времени.

Определение, данное проф. Будде наречиям по способности последних группироваться около глаголов**) при неспособности управлять другими словами и есть собственно указание на синтаксическую способность наречий служит обстоятельствами, так как последние, не управляя другими словами, и относятся всегда к глаголу—сказуемому (и прилагательному—определению, добавим мы). По этой причине, как определение наречий, так и

*) Раньше эти формы действительно представляли собой прилагательные, употребляясь в качестве определения; срв. сохранившиеся до настоящего времени членные формы данных слов: оный дом, оная жена, оное село. По той-же причине мы и фамилии как Петровский, Васильев, хотя они могут являться в двух грамматических родах — муж. и женск., считаем не прилагательными, а существительными: когда-то они были определениями (Васильев сын), теперь-же они не имеют характера определения.

**) Это не точно: нужно добавить „а также и около прилагательных“.

формально-синтаксические определения предлогов и союзов, данные тем-же проф. Будде, являются для нас вполне приемлемыми.

Итак, оставаясь в пределах грамматики одного лишь русского языка, мы из различных возможных определений грамматических категорий по формальному принципу можем выбрать такие, которые, согласуются с синтаксическими определениями, которым, в свою очередь, как мы видели, не противоречат и потебневские определения. Эти семасиолого-синтаксические определения будут всеобщими для всех языков, в то время, как способы выражения внутренней стороны грамматических категорий т.-е. формальные, внешние их признаки будут различными в различных языках.

Но совершенно теряют формалисты из-под ног почву, когда переходят к определению предложенияя. В статье Стремнинина „Неограмматическое направление и школьная действительность", открывающей № I педаг. сбор „Родной язык в школе" (1919—1922 г.) приведено двенадцать самых разнообразных определений предложения, принадлежащих именно неограмматистам. Для того, чтобы хотя немного разобраться в этой разноголосице, остановимся еще раз на столь часто дебатировавшемся вопросе об отношении грамматического предложения к психологическому и логическому суждениям. Начнем в целях методологического удобства с логического суждения. Его обычно определяют как соединение двух понятий. По взаимному отношению объемов субъекта и предиката суждение представляет собою включение объема подлежащего в объем сказуемого, со стороны-же логического содержания суждение включает признаки сказуемого в содержание подлежащего. По отношению к другим двум стадиям—психологическому суждению и грамматическому предложению логическое суждение является самым поздним слоем, возникшим из фактов языка в результате отвлечения мысли (Овсянико-Куликовский, Русская Мысль, 1896 г., стр. 9).

От логического суждения отличают суждение психологическое.

Психологическое суждение представляет процесс апперцепции, состоящий в выделении из сложного комплекса какого-нибудь отдельного представления, которое ассимилируется с прежде познанным. Сказуемое — ответ на вопрос, представленный в подлежащем. Следовательно, если нас заинтересовал вопрос, что горит и мы отвечаем „*дом*“, слово *дом* будет выражением психологического сказуемого, хотя оно и принадлежит к категории существительного. Таким образом, сущность сказуемого в его апперцепционном характере, в его волевой силе, чем предицирование (*снег—бел*) и отличается от аттрибутирования (*белый снег*). Представление, вызвавшее наше внимание, будет психологическим подлежащим, а то, что является его объяснением, ответом на подлежащее, будет психологическим сказуемым.

Следует, однако, заметить, что психологическое суждение не так уж значительно и отличается от логического суждения, если последнее будет нами понято так, как следует, а именно как включение объема подлежащего в объем сказуемого или как включение содержания сказуемого в содержание подлежащего. Разве включение, напр., признака белизны в понятие *снег* по своей психологической основе не является волевым актом предицирования, отличным от обыкновенной ассоциации, лежащей в основе аттрибутирования „белый снег“*).

Пожалуй, большее несоответствие (в формальных языках) обнаруживается между психологическим суждением и грамматическим предложением, на что указал впервые на западе Габеленц, и о чем, вслед за ним, любят трактовать некоторые русские ученые.

---

*) Психологизмом проникнуто учение о логическом суждении и, вообще вся „Логика“ проф. Лосского (Птг., 1922). Он, во-первых, элементами суждения считает не только понятия, но и представления, т.-е. те психические явления, о которых раньше обычно не шла речь в логике; во-вторых, он не может (с точки зрения психолого-генетической) признать суждение сочетанием двух понятий; по его мнению, оно—нечто первичное, получившееся в результате анализа. Но интереснее всего то, что все указываемые Лосским различия между логическим суждением и грамматическим предложением совпадают с различиями между психологическим суждением и грамматическим предложением, так что прием определения предмета логического суждения, часто отличающегося от грамматического подлежащего, самому проф. Лосскому кажется „ведущим к подмене логической точки зрения психологическою“ (стр. 66).

Видя в этом учении о психологическом подлежащем и сказуемом лишь „неудачную замену прежнего учения о логическом ударении, которое может приходиться на любом члене предложения, модифицируя соответствующим образом смысл предложения". (Лекціи по общему языковедению 2, стр. 177), проф. Богородицкий предпочитает „исключить указанные искусственные категории из грамматического учения о предложении и сохранить за подлежащим и сказуемым исключительно формально-грамматическое значение" (ibid.) Но отказываться от объяснения отношений между грамматическим предложением и психологическим суждением мы не имеем права, так как предложение, как факт языка, своими корнями восходит к психологическим явлениям.

Грамматическое предложение выросло, конечно, на двучленном акте апперцепции, и его определение мы могли бы отожествить с определением психологического суждения, если бы препятствием этому в нашем и других флектирующих языках не были бы формальные элементы, точнее же выражаясь, неподвижность этих элементов. Поясним это на примере.

В нашем и других формальных языках в результате ассоциации выработалась привычка выражать мысль сочетанием формы имен. п. существительного с личной формой глагола. При подвижности формальных принадлежностей, отличающей, напр., корневое состояние, наша мысль легко отделяла бы формальные принадлежности, определяющие названные члены предложения и переставляла бы их в зависимости от того, какое слово было бы психологическим подлежащим и какое—психологическим сказуемым. Следовательно, психологическое суждение *упали часы*, т.-е. с подлежащим *упали* и сказуемым *часы*, говорящий приблизительно выразил бы так: „*падение часовничает*" или „*упавшее часовничает*" или „*падение есть часы*" (пример заимствую у Пешковского, „Русский синтакс.", стр. 428). Сходные выражения можно найти иногда у русских футуристов. Но, в общем, к подобной перестановке формальный язык не может так легко и свободно прибегнуть, так как формальные принадлежности довольно прочно срастаются

с реальными принадлежностями, превращая их этим в имена, глаголы или другие грамматические категории, за которыми остается в результате выработавшейся у нас привычки преимущественное право служить в предложении именно теми, а не другими его членами. И оказавшись не в силах преодолеть косность формальных элементов, язык прибегает к другому способу подчеркнуть, где сказуемое, а именно к ударению: *упали часы**).

Указав на различие между грамматическим предложением и психологическим суждением, рассмотрим теперь те определения, которые формалисты дают грамматическому предложению. Но прежде заметим, что все предложения подразделяются на две больших категории— 1) аналитические предложения, в которых сказуемое выражает какой-нибудь признак, производимый деятельностью подлежащего (волк убежал), или, как формулирует их Богородицкий,— „предложения, изображающие факт" (Общ. курс русской грамматики, стр. 242—244) и 2) предложения синтетические, в которых обычно сказуемым определяется принадлежность подлежащего к какому-нибудь родовому понятию (волк—хищное животное) или-же приписывается подлежащему какое-нибудь качество (волк—сер). У Богородицкого (стр. 244—253) категории синтетических предложений соответствуют две группы: Б. „Предложения, определяющие подлежащее относительно его родового понятия" и В. „Предложения, определяющие подлежащее относительно качества". Но так как включение объема подлежащего в объем сказуемого

---

*) Следует, однако, заметить, что этому скрещиванию формальных принадлежностей с новыми вещественными элементами, для которого может не хватить смелости в данный момент, постепенно помогает само время, и таким образом и появились сочетания исконно-аттрибутивных корней с именными суффиксами (бел-изн-а) или наоборот, исконно-именных корней с суффиксами прилагательных или глаголов (*звер-ский*, *вечер-еет* и др.), наконец, такие глаголы как *на-те*, укр. *ну-мо*, укр. неопределенн. местоимение *кількакадцять* и др. Если в первую эпоху корневого состояния языков отдельные корни будут отдельно соответствовать вещам, их признакам, действиям, т.-е, синтаксис языка (как учения о категориях) будет совпадать с логикой внешних явлений, а также с логикой психических явлений, их отражающих, то в этот второй момент срастания корней с различными формальными элементами обнаруживается несоответствие между синтаксическими категориями, с одной стороны, и логико-психологическими категориями, с другой.

есть в то же время включение признаков сказуемого в содержание подлежащего, то поэтому обе последних категории, приводимые Богородицким, можно объединить под общей формулой предложений, в которых сказуемое приписывает подлежащему уже данный признак. Так как первая группа предложений (А) выражает процесс расчленения, совершаемого в данный момент, мы их можем назвать аналитическими, и так как во 2 и 3 группах (Б и В) сочетаются понятия или представления, из которых 2, т.-е. сказуемое, является уже данным (хотя бы даже и в результате анализа подлежащего: анализ этот был совершен раньше настоящего момента),— мы объединяем эти две группы под общим названием синтетических предложений.

С формальной стороны предложение чаще всего определяют как сочетание имен. пад. имени с согласуемым с ним глаголом в личной форме. Но если оно в большинстве случаев годится для суждений, изображающих факт, то во всяком случае оно не подходит для двух последних категорий по Богородицкому, т.-е. синтетических суждений (он—добр, Пушкин—поэт, ум—хорошо, два—лучше), если в подобных предложениях отсутствует глагол в личной форме: ведь в них ошибочно предполагают пропуск глагола. Здесь, как справедливо указывает проф. Томсон (Происхождение форм имен., вин. пад. и грамматич. рода, стр. 4, прим.), нет никакого пропуска связки и говорится в русских грамматиках о ее пропуске только вследствие зависимости авторов от иностранных грамматик. В своей интересной статье „Copule zéro et faits connexes“ (Bullet. de la société de linguistique de Paris, XXIII, вып. I, 1922, стр. 1—6). Ch. Bally, приводя примеры таких предложений, как санскр. *kas tvam*, греч. *Πηνελόπη πιστη*, лат. *Paulus fortis* и русск. *дом нов*, полагает, что предложения со связкой возникли позже чистых именных фраз; ее появление вызвано было развившейся позже способностью к анализу, к расчленению мысли *).

*) Такое именное сказуемое, вообще, является более первоначальным. В гренландском языке, в языке турецком и других урало-алтайских форма 3 лица глаголов очень близка по своему характеру к имени, именно близка

Если даже дадим более широкое формальное определение предложению, как словосочетанию, в котором „налицо имен. п. имени существительного, согласованный или с глаголом в личной форме или с прилагательным в краткой форме „(см. Родн. яз. в школе, I, стр. 20), все-таки останется огромное количество предложений, неподходящих под эти рамки,—предложений, которые А. Павлович (стр. 21) объявляет „своеобразными конструкциями без сказуемых".

Противоречия приводимым формулировкам представляются как предложениями типа *Б* и *В* по Богородицкому (примеры были приведены выше), так и предложениями типа *А* (И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться; Татьяна—ах!, а он—реветь; он—бултых в воду; все—давай бежать; смотри ж, уж я тебя, вооруху!; он—хвать его по лбу; встать! молчать! внимание! и др.), при чем число этих отступлений от законного формального типа так велико и в литературном языке (напр., в баснях Крылова) и в обыденной речи, что слишком неудобно объявлять их неграмматическими типами предложений и отказываться, таким образом, от объяснения доброй половины явлений нашего языка.

И нет у нас основания видеть пропуск личной формы глагола во всех приведенных примерах: отсутствие этой формы во многих примерах кажется мне исконным. Напр., натяжкой будет предложения типа встать!, молчать! объяснять, как результат опущения глагола (какого? *приказываю* при другого какого-нибудь?). Я полагаю что в подобных случаях инфинитив является как своего рода естественная звуковая метафора. Форма неопределенного наклонения (молчать, встать) своей звуковой оболочкой (меньшим количеством слогов по сравнению с ф. повелит. накл. множ. ч.—а такой оборот, как встать, молчать, и применяется, главным образом, в обращении ко многим лицам,—затем последним закрытым слогом, большой частью, ударенным) больше соответствует пси-

---

ф. 3 лица, потому что 1 и 2 лл. своей глагольностью обязаны формам личного местоимения, отсутствующего в 3 лица в названных языках (см. Finck., Die Hauptttypen des Sprachbaus, 1910, стр. 36 и сл., и 79).

хическому состоянию приказывающего лица, требующего немедленного исполнения своего приказа.

По той же, должно-быть, причине подвергается различным сокращениям форма повел. накл.: напр., редуцируется неударенное *i* в окончании этой формы глаголов 2-го спряжения в различных славянских языках (*встань* и т. п.), затем сокращается конечное *е* в украинском языке: *беріть* вм. *беріте* и др.

Итак, мы видим, что определение предложения является едва ли не самым серьезным камнем преткновения для формалистов, да не только для формалистов, а и вообще, для грамматистов.

Мы знаем, что даже гениальный Потебня после тщетных попыток отказался формально-грамматически определить предложение.

Подобно тому, как звуковые типы и законы звуковых изменений не являются одинаковыми и всеобщими, синтаксические законы и определения также не имеют всеобщего и необходимого значения. Чтобы дать исчерпывающее формально-грамматическое определение предложению, мы должны перечислить, кроме более типичных форм (имен. пад.+глагол в личной форме или другое имя в имен. или твор. пад.), еще целый ряд отступлений от данных типов предложения, но это имело бы значение только для русск. языка. Если же мы пожелали бы дать формулировку, обязательную для всеобщей грамматики, мы еще больше должны были бы увеличить формулу нашего определения, приняв во внимание самые разнообразные типы предложения (напр., готтентотск. *мои глаза, твои глаза* и т. д. в значении *я вижу, ты видишь* или же *мои слезы, твои слезы, его слезы* в значении *я плачу, ты плачешь, он плачет* в языке атапасков). Но общее психологическое определение предложения как законченного словосочетания, выражающего акт аппрецепции, или вообще какое-нибудь другое подобное определение вполне для нас приемлемо, так как законы психологических явлений всеобщи и неизменны. Сходясь, таким образом, в итоге с определением психологического суждения, грамматическое предложение не всегда, однако, сходится с ним своими членами: мы

видели, что грамматическое подлежащее и сказуемое может не совпадать с психологическим подлежащим и сказуемым. Но это несовпадение возможно только в формальных языках по той причине, что здесь слова могут независимо от предложения обладать грамматической формой, дающей ей предпочтительное право служить тем или иным членом в предложении. Само же словосочетание также приобрело „внутреннюю форму“ в сознании говорящих: Оно всякую мысль о явлениях, всякий факт изображает как деятельность, совершаемую предметом или же констатирует принадлежность предмету признака, не теперь производимого, но уже данного (предложения типа А и предложения типов Б и В).

Таким образом, способность обозначать различные модификации отношений между признаками и их носителями принадлежала сначала не грамматическим категориями, а отдельным членам предложения, и лишь позже способность эта перешла к отдельным словам, получившим в предложениях свои формальные отличия. Но мысль движется быстрее эволюции грамматической стороны языка, не способного (именно в формальных языках) к созданию в любой момент новой грамматической формы слова. Для этого, как мы видели, нужно время. И поэтому, если перемещается внимание с одного слова на другое и этим нарушается соответствие между психологическим подлежащим и сказуемым и грамматическими членами предложения, язык оказывается способным на первых порах использовать лишь одно верное средство— а именно, перемену места логического ударения. Иногда же язык, прибегнув к этому способу, может еще и иными грамматическими средствами обозначить перемещение членов мысли (*Ваня звóнит*, обратно *звонок принадлежит Ване* вместо *звонит Вáня*; такое перемещение мысли труднее было обозначить с помощью законных норм грамматики русского языка в предложении „*часы упали*“). Если внимание наше непосредственно перешло от субъекта к объекту (при глаголах действительного залога), тогда это перемещение подлежащего выражается в замене действительного залога страдательным.

Закончив изложение столь трудного вопроса, мы позволим вкратце формулировать наши выводы. Мы не возражаем против формального принципа как такового; наоборот, мы считаем вполне приемлемой для нас выдержанную в духе формализма классификацию грамматических категорий, в связи с каковой устраняются местоимения и числительные, как особые категории; но мы лишь указали на трудности, к которым приходит формализм, совершенно игнорируя смысловую сторону. Мы полагаем, что формальное определение должно согласоваться со смысловым, которое мы определим, как психолого-семасиологическое, или же, что одно и то же, психолого-синтаксическое, так как синтаксис мы считаем частью семасиологии.

Наконец, мы не считаем возможным для того, что бы формулировать уже и проще какое- нибудь грамматическое явление, отбрасывать большое количество „исключений“, как неграмматические факты языка. Этого разграничения языковых явлений на грамматические и неграмматические, вслед за Потебней, старался избегать и Шахматов, который в своих лекциях по синтаксису ближе подходил к семасиолого-психологическому, чем к формальному определению. Вне связи с мышлением, говорил он, могут изучаться в языке только звуки. (об этом см. ст. Бернштейна„ Основные вопросы синтаксиса в освещении А. А. Шахматова“, Извест. Отд. русск. яз. и слов. Росс. Акад. н. т. XXV, стр. 208—233). Ссылкой на высокий авторитет гениального русского ученого я и позволю себе укрепить защищаемую мной позицию.

Формальное движение, явившееся реакцией против прежнего логического направления, впало в другую крайность. Нужно, конечно, в формальных языках, как русский, принимать во внимание внешние критерии грамматической формы, но ограничиться этим нельзя; необходимо различать и смысловые признаки формы, избегая при этом, конечно, ошибок старой логической школы в семасиологических определениях категорий. Односторонность формализма не может, конечно, удовлетворить строго-научные искания, и, несомненно, дол-

жен начаться поворот к какому-то новому направлению, признаки чего уже и наметились. В третьем тезисе своего доклада на съезде словесников 1921 г. в Петрограде проф. Щерба заявляет, что „с научной точки зрения, формальное направление не выдерживает критики, так как формы могут быть вскрыты лишь при параллельном анализе их значений“ (сборн. „Просвещение“, Петрогр. 1922, стр. 231—232; интересны для интересующего нас вопроса и другие тезисы докл. проф. Щербы). Показательной является также статья Е. А. Сидорова „К вопросу о типе учебной книги по русскому языку“ (по поводу „Синтаксиса соврем. русск. яз“. Гипиуса), который, удачно применив к истории грамматики в России гегелевскую формулу диалектического процесса и признав формальное направление антитезой sui generis, заявляет дальше о том, что неизбежен некий высший синтез, который воплотит в себе органическую связанность формы и значения—при их строгой и последовательной различимости (Записки коммунистич. университ. им. Свердлова, т. I, 1923, Москва, стр. 226).

Из всего сказанного становится ясным следующее. Проще и правильнее всего делить языкознание на фонетику, т.-е. учение о звуках независимо от значения, и грамматику—учение о составленных из звуков целых осмысленных словах и словосочетаниях, или же, что мне кажется идентичным, учение о формах в широком смысле слова.

Понятию формы даются самые различные определения. Формой слова можно считать звуковую, внешнюю его оболочку; другие считают таковой окончание, по которому слово вводится в какой-нибудь грамматический разряд, третьи называют формами эти самые грамматические разряды, объединяемые одинаковыми принадлежностями, четвертые, наконец, в кантовском духе признают формами те обобщения априорного характера, которые „идут из души“ („von innen kommt“) навстречу внешнему чувственному миру. Но мы понятие формы в языкознании принимаем в таком значении,

в каком, напр., в изобразительном искусстве формой может быть названа статуя, отличающаяся от простой глыбы мрамора именно своей значимостью. *)

Приняв термин *форма*, в таком широком значении, мы поймем теперь, почему грамматика, в противоположность фонетике, рассматривающей искусственно выделенные звуки без значения и потому не имеющей своего коррелята, — является биполярной и распадается на морфологию, как учение о формах выражения мысли (т.-е. о словах и предложениях), и на семасиологию в широком смысле,—как науку о значении этих форм.

Морфологические принадлежности слов, как мы видели, подразделяются на основные и формальные. Если мы к первым отнесем из числа формальных более близкие к основным основообразующие принадлежности, т.-е. те, которые обозначают различные модификации признаков или же какие-нибудь более общие признаки-то останется разряд синтаксических формальных принадлежностей, которые, присоединяясь к основной принадлежности, и создают грамматическую форму. **)

Значением этого синтаксического элемента и является какое-нибудь отношение. Разве не синтаксическим вляется по значению оконч. род. п. ед. ч. *а* в сл. *сын-а*?

Сочетание нескольких слов или предложение также является формой выражения мысли, отличной с внешней стороны от слова. Значение отдельных слов в предложении также может быть реальным или формальным, наконец, и значение предложения также бывает формальным или реальным (напр., выражение чувства в восклицательных предложениях).

---

*) О различных значениях слова *форма* см. в кн. Марти, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphiosophie, 1908, стр. 101—120).

**) Проф. Богородицкий (Введение в тюрко-татарское языкознание, 1922, стр. 30) также собственно формальным элементом считает только синтаксические принадлежности или окончания. Следующей формулой он иллюстрирует морфологический состав слова.

$$\underbrace{(\text{преф.}) + \text{кор.} + \text{сф.}}_{\text{отдел } \textit{материальный} \text{ в слове или основа.}} + \underbrace{\text{ок.}}_{\text{элемент } \textit{формальный} \text{ в слове или окончание.}}$$

Таким образом, морфология распадается на морфологию слова (Wortlehre) и морфологию предложения (Satzlehre); противоположная-же сторона, т.-е. семасиология подразделяется на семасиологию реальных и семасиологию формальных принадлежностей; последняя и является синонимом синтаксиса *).

Как мы видим, нити соответствия от двух членов деления морфологии и двух членов деления семасиологии не параллельны; они прекращиваются, так как морфология слова устанавливает, напр., существование принадлежностей с реальным и формальным значением.

Путаница морфологического и синтаксического принципов создалась именно с переходом от корневого состояния языка к флексивному. Когда предметы и отношения между ними выражались отдельными словами, тогда сочетание слов соответствовало сочетанию семантических единиц, т.-е. морфология предложения соответствовала синтаксису. Когда же отдельные корни с реальным и формальным значением срослись в отдельные слова, тогда способность обозначать отношения перешла и к отдельной части слова. Таким образом, семасиологическая разница между членами предложения и морфологическими частями слов лишь кажущаяся, и это для нас станет особенно убедительным в следующей главе, когда мы увидим, что главные формы существительного, личные формы глагола, явились в результате срощения в одно целое элементов древнего предложения, и таким образом, морфологические принадлежности названных форм—это бывшие самостоятельные члены предложения.

Наконец, перпендикулярное только что рассмотренному деление грамматики на морфологию и семасиологию также не имеет существенного значения; являясь результатом искуственного расчленения цельного понятия формы (в принятом нами смысле), оно и было причиной многих заблуждений. Так, напр., деление сло-

*) По своим задачам семасиология реальных принадлежностей совпадает со своим целым, т.-е. с семасиологией вообще, которая, оставляя в стороне формальное значение слов, занимается лишь рассмотрением его вещественного значения. Несколько иначе ту же мысль выражает Пешковский. „Вещественные заачения, говорит он, рассматриваются в другом *отделе языковедения—ссмасиологии*" *(Русск. синт., стр. 57, вын.)*.

ва на морфологические части, ничего не имеющее общего с чисто звуковым делением на слоги, основано только на семасиологическом различии этих частей, и потому морфология слова (а в связи с ней, вообще, его грамматическая природа) оказывается тесно связанной с семасиологией. От отдельного звука или от бессмысленного комплекса звуков слово и отличается только благодаря соответствию своему с тем или иным семасиологическим коррелятом, т.-е. благодаря тому, что оно имеет какой-нибудь смысл.

О преподавании грамматики в школе.

„Воззрения на надобность и полезность грамматики в школе в настоящее время очень пестры, говорит Алферов (Родной язык в средней школе, Москва, 1911, стр. 94): они заключают в себе целую лестницу взглядов, от самых правоверных до вполне нигилистических включительно". Процитированные слова, сказанные двенадцать лет тому назад, еще более применимы к современному состоянию науки о преподавании родного языка. Но о полном изгнании грамматики из школы быть речи, конечно, не может. Ее необходимость признают как лучшие методисты, даже в школах взрослых (см. статьи Устинова, Шапиро и Плотникова в первой и второй кн. „Родн. яз. в школе") и на рабочих факультетах (см. ст. проф. Пешковского в „Вестнике Рабочих Факультетов", 1921, II—VI), так и правительственные программы (московские и харьковские). Справедливо замечает дальше Алферов, что „последние взгляды (т.-е. нигилистические) начинают преобладать и становятся тем радикальнее, чемъ менее располагают научными сведениями об языке их авторы".

Но зато можно считать почти установленным взгляд, что преподавание грамматики должно быть перенесено на старшие классы (на последний год первой (5-летней) ступени, в 7-летних же школах украинского типа—на последние два или три старших класса), так как обучение орфографии в младших классах вполне возможно без изучения грамматики. Наиболее рациональным спо-

собом усвоения правописания является, как показали исследования Лая, списывание, сопровождаемое произношением вслух *). Здесь же на первых годах обучения нужно обратить внимание учащихся на различие между правописанием и произношением.

Этот вполне правильный взгляд у нас был освящен авторитетом покойного акад. Фортунатова (въ ст. „О преподавании грамматики русск. яз. в средн. шк.", Русск. Фил. Вестн. 1905, № 2), который, предложив отделить грамматику от обучения правописанию и перенести ее на старшие классы, полагает, что здесь уже, в старших классах, она должна проходиться в расширенном объеме соответственно современным научным данным.

В предисловии к „Синтаксису русск. языка" Овсянико-Куликовский также предлагал „проложить дорогу наукообразному синтаксису родного языка въ школу, т.-е. в старшие классы гимназий" **).

Отняв у грамматики практическую роль лишь пособницы при обучении правописанию и отодвинув ее преподавание на старшие классы, нужно, конечно, изменить самый порядок и характер изложения, а также и материал предмета, называемого грамматикой.

Самым удобным порядком является концентрический. Из сказанного в данной главе о синтаксической природе грамматических категорий и о близости синтаксиса и морфологии с достаточною очевидностью вытекает необходимость их тесно связанного преподавания. В первом концентре, который и может быть пройден не раньше, чем на пятом году обучения, учащиеся должны приобрести знания о предложении и его членах, о частях речи, их классификации и видах изменяемости (о содержании следующих концентров я скажу ниже). Необходимо затем пересмотреть самый мате-

---

*) В соответствие изложенному следует вспомнить взгляд А. М. Пешковского (Школьная и научная грамматика, стр. 106 сл.) о возможности обучения знакам препинания без знания синтаксических правил. Он полагает, что научить правильной пунктуации можно с помощью выразительного чтения.

**) В последнее время взгляд акад. Фортунатова был повторен в небольшой статье Ф. В. Каминского „Грамматика русского языка, как предмет школьного преподавания" (Учен. Зап. Высш. Шк. г. Одессы, т. II, посвящ. проф. Б. М. Ляпунову, 1922, стр. 155—158).

риал изложения: нужно изгнать противоречащее истории языка учение о сокращении придаточных предложений, заменить отдел о залогах старых грамматик учением акад. Фортунатова об этом вопросе (О залогахъ русского глагола, Изв. отдел. русск. яз. и слов. Росс. Акад. Н., т. IV (1899), кн. 4, стр. 1153—1158). Его учение, довольно сложное, было популяризовано проф. Будде в „Вопросах методологии“ (стр. 116 сл.).

Какого же принципа изложения грамматики придерживаться в школе? Несомненно, в методологическом отношении самым удобным является для 1-го концентра только формальный принцип, так как формально-грамматические признаки частей речи являются более доступными детскому пониманию. Несомненно огромной заслугой формалистов является упрощение классификации частей речи, устранение путаницы двух принципов деления—грамматического и логико-психологического (см. Пешковского, Школьная и научная грамматика 2, стр. 53 сл.). Мои возражения против формалистов сводились лишь к желанию доказать возможность и необходимость примирения формального принципа с семасиологическим. И вот это смысловое уже определение грамматических явлений может быть присоединено к формальному определению и в школе (не раньше 6—7 годов обучения). В этих же концентрах может быть дано и подразделение имени существительного и прилагательного на меньшие группы (существительное и прилагательное в узком смысле, затем числительное и местоимение), так как это более детальное подразделение оправдывается не только семасиологическими данными (напр., местоимения отличаются от существительных и прилагательных своим невещественным, более формальным значением), но и чисто формальными признаками (особое склонение некоторых числительных—два, три, четыре, сорок, сто, отличное склонение личных местоимений и др.). Все это также вполне доступно для данного школьного возраста.

Таким образом, противопоставление школьной и научной грамматики я могу принять в смысле, совершенно противоположном тому, в каком понимают это

проф. Пешковский и проф. Кудрявский (см. предисловие последнего к грамматике русского языка Новиковой). Именно, в школе на первых ступенях изучения грамматики я, в чисто педагогических целях, считаю возможным ограничиться односторонним—формальным освещением грамматики; для следующих же ступеней школы, а главное, для нас самих, мы должны создать учение, которое удовлетворяло бы требованиям научной истины. А такое научное изложение грамматики неизбежно должно базироваться на сочетании двух принципов—формально-грамматического и семасиолого-психологического.

ГЛАВА VIII.

Главные принципы эволюции грамматического строя.

В предыдущей главе мы дали определение грамматическим категориям в зависимости от синтаксической роли слова в предложении, и от его формальных признаков. Мы указали также на то, что грамматические разряды слов или категории и грамматические формы, служащие их внешними критериями, не являются постоянными и неизменными.

В каждый новый момент развития грамматический строй представляет новые черты отличия.

Разрушение старого предрассудка о неподвижности грамматических форм составляет главную заслугу Потебни. „Это важное открытие (об изменяемости грамматических форм), не только угаданное, но и доказанное Потебней, имеет в языкознании, по словам Будиловича, такую важность, какую учение Дарвина об изменяемости видов в науках биологических".

Какими же общими чертами мы можем охарактеризовать грамматическое развитие языка?

Первая черта этого развития—переход от слияния к диференциации. Во 2 ч. своих. „Записок по русск. грамм". Потебня доказал, что древнейшей формой сказуемого является составное сказуемое в причастной форме. Причастие в таком сказуемом отличается значительной степенью предикативности и этим близко к глаголу; с другой стороны, оно обладает известным характером субстанциональности и приближается к имени; таким образом, оно представляет как бы конкретное слияние

глагола и имени, в котором, в свою очередь, еще не различалось существительное от прилагательного.

Историю дальнейшего отделения прилагательного от существительного Потебня излагает во II т., или иначе 3-й ч. своих „Записок по русской грамматике".

Исследуя язык древних памятников письменности, Потебня заметил, что разница между существительными и прилагательными постепенно уменьшается по направлению к прошлым векам. Такие имена, как *прок*, *инок*, *друг* и др., употреблялись, как в значении существительных, так и в значении прилагательных. Членная форма некоторых существительных, как, напр., *дъва-я* на ряду с *дъва* указывает на то, что эти существительные были более качественными, чем теперь. Прилагательному, с одной стороны, были присущи формальные особенности категории субстанции, с другой стороны, существительное обладало большей степенью аттрибутивности. Существительное *ветчина* отличалось значительной долей аттрибутивности; оно означало „*мясо ветшина*", впротивоположность „мясо свѣжина".

Нарисованная нами эволюция грамматических форм есть история развития всего нашего мировоззрения.

В диференциации имени от глагола подготовляется путь умственной эволюции к энергетическому миросозерцанию. Мы теперь определенно диференцируем действие от носителя его, о предметах судим по производимым ими на нас действиям, сознательно отделяя эти действия от самих предметов; мы прекрасно сознаем, что познанием внешнего мира мы обязаны его физическим раздражениям, проникающим в наш внутренний мир через посредство органов восприятия.

Современное естествознание вещество определяет как „внешний агент, возбуждающий наш орган осязания", и в молекуле видит лишь невидимый центр сил. Изучая и определяя предметы по их действиям, мы постепенно приходим к убеждению, что вещь, рассматриваемая независимо от ее воздействия на нашу нервную систему, вещь как самый носитель действия остается кантовской „вещью в себе".

Но это различение действия от носящей его вещи не было доступно воззрению древнего человека. Это стало возможным только после отделения имени от глагола.

Образование грамматических категорий стоит в связи с эволюцией формы самого предложения, к рассмотрению чего мы и переходим.

Эволюция самого предложения может быть опредена как переход от синтеза к анализу.

Решая вопрос о происхождении прилагательного, Потебня доказывает, что оно как более отвлеченное название признака явилось гораздо позже имени существительного, которое как название признака вместе с субстанцией более конкретно и ближе к чувственному образу.

По мнению Штейнталя и Герм. Пауля, прилагательное явилось результатом аналитического разложения существительного как субъекта суждения.

Мы уже приводили цитату из Штейнталя о том, что „чувственный образ, т.-е. единство есть первое, а суждение есть разложение этого единства".

Так в суждении из совокупности признаков выделяется один признак, так из существительного как названия субстанции образуется прилагательное как название отдельного признака.

Но еще в IX гл. своего сочинения „Мысль и язык" Потебня выставляет совершенно противоположное мнение и заявляет, что с точки зрения языка разложение чувственного образа может осуществиться только посредством соединения его с другой подобной единицей, т.-е. в синтетическом суждении. Синтез предшествует анализу.

Это положение о приоритете синтетических суждений пред аналитическими также одно из ценных приобретений в учении Потебни; подтвердивши фактами из истории языка, он его развивает в своих „Записках по русской грамматике".

Потебня доказывает, что не только в таких поэтических сочетаниях как „кремень—человек", „Церковь—Спас", „брови—соболь", свойственных народной поэзии

и древним памятникам письменности, но даже и в таком обыкновенном суждении, как „трава зелена“ разложение единства *трава* могло совершиться лишь посредством сочетания его с другим единством *зелена*. Говоря иначе, анализ образа произошел посредством синтеза.

Мы видели также, что более древние предложения с составным сказуемым являются синтетическими, появившиеся же позже предложения с простым сказуемым представляют собой аналитические предложения.

В таком первоначальном суждении подлежащее и сказуемое являются совершенно отдельными самостоятельными образами, связанными между собой ассоциацией сходства или, реже, ассоциацией смежности.

И лишь в своем дальнейшем развитии язык от синтетических суждений переходит к аналитическим.

Для того, чтобы из синтетического суждения могло явиться аналитическое, необходимо применение предиката прежнего суждения к новым субъектам, хоть и сходным с первоначальным, но отличающимся от него какими-нибудь чертами; в результате этого применения выделятся общие черты сходства. Обозначение предметов по этим выделенным чертам сходства и будет знаменовать собою момент образования аналитического суждения.

Таким образом, всякое прилагательное нужно возводить к первоначальному чувственному образу как кругу признаков, из которого взят признак, оставшийся в данном прилагательном.

Это положение подтверждается этимологией многих названий цветов, на что обратил внимание Герм. Пауль в своих „Principien der Sprachgeschichte“.

Но еще до появления этого труда Пауля это было подмечено Потебней, который в IX гл. „Мысль и язык“ говорит, что „названия некоторых цветов еще и теперь явственно указывают на чувственные образы, из коих они выделены“, так *голубой*—цвет голубя (первоначально *голубой* в значении сизый), *зелен*—цвет растения, зелья, срв. греч. *χλωρός*, *χλόος*, *чьрмьнъ*, *чьрвьнъ*—цвет червя.

Сходные мысли высказаны были Вундтом в 1900 г. в его „Völkerpsychologie“. Принявши с некоторыми до-

полнениями аналитическую форму Штейнталя для определения предложения (см. I гл. нашей книги) он таким аналитическим суждениям дает название„ закрытых структур". Они соответствуют предложениям предикативной конструкции. От „закрытых структур" Вундт отличает „открытые структуры", основанные на чистой ассоциации и присоединяющие к данному представлению другое, совершенно не заключающееся в первом. „Открытые структуры" соответствуют аттрибутивной конструкции.

Сравнивая в этом отношении древние и новые языки, Вундт приходит к выводу, что языки в своем развитии постепенно переходят от открытых структур к закрытым, от ассоциации к апперцепции.

Формулированные особым языком эти мысли очень напоминают положения, высказанные Потебней, и потому очень жаль, что проф. Зелинский в своей статье о психологии языка Вильг. Вундта (в „Вопросах философии и психологии") слишком переоценивает новизну приведенных мыслей Вундта и видит в них какое-то откровение, забыв о том, что подобные мысли высказывались за много лет раньше в трудах Потебни.

Указанный нами путь развития предложения поможет нам осветить процесс образования логического понятия.

В I гл. мы указали на роль слова в образовании понятия. Там-же мы указали на то, что главными моментами в процессе этого образования являются синтез и анализ. В этих моментах происходит развитие логического понятия.

Но в логическом понятии, в сущности, две нераздельных стороны: объем и содержание. Эти стороны понятия раскрываются в различные моменты его психологического генезиса. Эти моменты—синтез и анализ, в свою очередь, воплощаются в определенных процессах языка. Постараемся теперь установить соответствие между генезисом понятия и определенными этапами грамматического развития.

Первому моменту в образовании понятия, т.-е. синтезу соответствуют синтетические суждения, в которых

образы сочетаются путем обыкновенной метафоры или метонимии. Такие суждения представляют наименование одного предмета другим вследствие связывающего их сходства или, реже, какого-нибудь отношения смежности. В основе такого обозначения подлежащего сказуемым лежит обыкновенная ассоциация по сходству или по смежности.

Но в таком бессознательном сочетании, однако, не сознается логическое основание свези сочетаемых образов. Мысль в этих синтетических суждениях, хотя и сознает индивидуальную особность сочетаемых образов и не смешивает их, как полагал Гейгер, однако, она не сознает еще и не выделяет общих признаков, являющихся основанием сходства. Следовательно, имя—сказуемое такого первоначального синтетического суждения будет лишь обозначением сходных представлений, но не признаков как логического содержания этих представлений.

Формулируя эту мысль языком логики,мы скажем, что в таких первоначальных суждениях раскрывается *объем* или *означение*, но не *содержание* или *соозначение* понятия.

Образование логического содержания понятия связано в нашей психике с переходом от синтеза к анализу; в языке же образование содержания понятия обусловливается переходом от синтетических суждений к аналитическим, в которых и выделятся общие признаки сходных предметов. Для этого, как мы уже говорили, необходимым является, чтобы образ сказуемого, сочетающийся в синтетических суждениях с познаваемым подлежащим, вступил бы в сочетания с новыми, сходными с прежним подлежащими. Сочетая в новых суждениях образ—сказуемое с новыми подлежащими, мысль в этом ряде синтезов незаметно и неуклонно, по психологическому закону „изменения сопутствующих элементов“, совершает свой творческий анализ и в результате выделяет общие признаки.

Так совершается переход к аналитическим суждениям и вместе с тем переход к образованию логического содержания понятий. Сказуемое таких аналитических

суждений, являясь расчленением подлежащего, наименованием выделенных из него признаков, и будет уже обозначать содержание, а не объем понятия.

С семасиологической стороны такое обозначение предмета по его признакам является синекдохой.

Такой синекдохический, или иначе, аналитический способ обозначения понятия по его признакам подготовляется первоначальным метафорическим или метонимическим сочетанием образов в синтетических суждениях.

Теперь мы проследим, как совершается дальнейшее развитие логического содержания понятий.

В действительности, содержание понятий представлено не одним признаком, а целой совокупностью общих признаков. В каждом же отдельном аналитическом суждении его сказуемое, расчленяющее подлежащее, способно выделить из него лишь один его признак. Следовательно, содержание понатия как совокупность многих признаков, психологически может выразиться лишь в последовательном ряде суждений; как одновременный же комплекс общих признаков оно в психологическом отношении представляет чистейшую фикцию. Как сложное интенсивное представление, нашему воззрению доступен лишь чувственный образ, но не комплекс логических абстрагированных признаков, которые могут быть представлены лишь в последовательном ряде суждений: конкретное слияние этих общих признаков в одновременный образ недоступно нашему продуктивному воображению, и потому определение понятия Гефлером как „логического представления“ (Основн. учен. логики, перев. Давыдова и Салитан, 1910) является непонятным в психологическом отношении.

Грамматическим же адэкватом понятия будет лишь имя—подлежащее, которое являясь как-бы точкой опоры целого ряда аналитических суждений, будет заключать в потенциальном состоянии всю совокупность признаков, составляющих данное понятие.

Образованное имя как носитель признаков и становится аккумулятором будущих аналитических суждений, в которых и совершится аналитическое разложение предмета на составляющие его признаки.

Другая отличительная черта в эволюции синтаксических форм словосочетания может быть названа переходом от паратаксиса, или сочинения, к гипотаксису, или подчинению. Это, во-первых, обнаруживается в сочетании двух существительных и затем, вообще, в сочетании членов одного и того-же предложения или в сочетании двух предложений.

Паратактическим называется такое сочетание существительных, когда они стоят в одном и том-же падеже: *дуб—дрова* (вм. дрова дуба), церковь — спас; гипотактическим является такое сочетание, когда одно из существительных стоит в родит. пад. при другом в имен. пад.: *свеча воску яркого*, или когда, вообще, одно существительное подчиняется другому.

В гипотактических сочетаниях, свойственных преимущественно современным языкам, ясно уже различается определение от определяемого, подчиняемое слово от подчиняющего.

Этот переход от сочинения к подчинению, в историческом движении языка заметил еще Буслаев, который в „Исторической грамматике русск. яз.“ (стр. 357) указывает, что в древне-русском языке и в современных народных говорах употребляется соединение двух предложений с помощью союзов *а* и *и* там, где следовало-бы одно предложение, как придаточное, подчинить другому: „видѣхъ великъ звѣрь, а главы не имѣетъ“ (Молен. Дан. Заточн.).

Теперь мы сказали-бы: видел великого зверя, *который* главы не имеет.

Тот-же взгляд проводил и акад. Корш в своей статье „Способы относительного подчинения“.

Но особенно детально разработал и подтвердил многочисленными доказательствами эту мысль Потебня.

Его исследования стоят в связи с его взглядом на предикативную силу причастия.

Потебня, во-первых, указал на независимое употребление причастия в качестве сказуемого придаточного предложения: не вѣдѧть бо сѧ, ѹьто творѧще.

Раньше в таких случаях видели пропуск вспомогательного глагола, но Потебня доказал, что здесь нет

никакого пропуска. Это — особый синтаксический оборот, свойственный именно древнему строю языка и основанный на предикативной силе причастия. Сочетание главного предложения с таким причастным сказуемым отличается от современного сложно-подчиненного предложения бо́льшей конкретностью, большей слитностью его членов. Образование же из этого оборота придаточного предложения, начинающегося относительным местоимением, с изъявительным наклонением в качестве сказуемого представляет уже известного рода расчленение, в котором можно видеть переход от паратаксиса к гипотаксису. Следовательно, не может быть речи о том, что так называемые сокращенные придаточные предложения явились позже из полных—в результате их сокращения.

Той-же предикативной силой причастия можно объяснить другую синтаксическую особенность языка древних памятников, состоящую в том, что союзом *и* связывается в качестве одного из сказуемых слитного предложения не только личный глагол, но и причастие: І се мѫжи на одрѣ носѧште члвка їже бѣ ослабленъ і и скалѫ вънести и (Еванг. от Луки, гл. V, ст. 18).

Но подчинение становится возможным лишь после того, как анализ выяснит отношение одного члена мысли к другому; таким образом, вполне очевидно, что переход от сочетания к подчинению есть другая сторона того-же движения языка от синтеза к анализу.

Одной из существенных черт в развитии внешней стороны грамматического строя языка ошибочно считают также переход от периода создания грамматических форм к периоду их разрушения. В предыдущей главе мы указали, что критерием грамматической формы является как внешняя звуковая оболочка, так и ее формальное значение, определяемое местом слова в предложении.

Древние языки отличаются богатством внешних форм, и в них главным критерием грамматических форм служит флексический материал.

Но на более высокой ступени развития, благодаря действию „новообразования по аналогии“, о которой подробнее скажем к конце этой главы, язык постепенно

теряет это богатство форм, сокращает число падежных и глагольных окончаний и упрощается в морфологическом отношении.

Но это исчезновение флексического материала не означает еще, как доказал Потебня, падения форм. Потеряв звуковую оболочку как носительницу формы, слово продолжает все-таки сохранять ее, т.-е. форму, в значении определяемом синтаксической ролью слова в предложении.

Сходное говорит и Вундт, который, установив различие внешних (Unterscheidungsmerkmale) и внутренних признаков грамматической формы, говорит, что внешние признаки, сами по себе, независимо от функции слова в предложении, определяют грамматическую природу слова. Но отсутствие этой внешней формы не должно означать, однако, исчезновение грамматической формы. Она определяется смыслом, местом слова в предложении. Эту определяемую смыслом грамматическую форму Вундт называет внутренней формой.

Проф. Зелинский, однако, не придает внутренним грамматическим формам такого значения, как внешним, и называет их „жалкими и недостаточными суррогатами формального элемента“ („Вопросы философии и психологии“, кн. 62, стр. 647)

Значение формы, утерявшей свое окончание, соединяется с другой, близкой формой (напр., с формой другого падежа), представляя как-бы новое, переносное ее значение.

Родит. пад. ед. ч. *греха* в предложениях „ушел от греха“, „не боишься греха“ и „ты—сын греха“ представляет в каждом отдельном случае новую грамматическую категорию. В первом предложении перед нами остаток древнего отложительного падежа (ablativus'a) во втором—родительн. употреблен в значении винительного прямого дополнения, как доказал в своих исследованиях проф. Томсон, и лишь в третьем предложении мы имеем дело с исконной категорией род. пад. ед. ч. Оба первых значения относятся к третьему, как последующие звенья к предыдущим одной и той-же цепи семасиологического развития.

Обычно говорят об одном творит. падеже в русском языке, но Потебня указал во II части своего труда „Из запис. по русск. граммат.“ на различные случаи употребления этого падежа; несмотря на общность звуковой формы, каждый новый случай употребления творит. пад. является новой категорией, генетически связанной с предыдущим значением этого падежа.

Итак, еще раз повторяем, с утерей внешних звуковых отличий грамматическая форма не исчезает; она остается во внутреннем значении, которое теперь определяется исключительно местом слова в предложении и отношением его к другим членам предложения.

Но если даже мы будем иметь в виду эволюцию внешних признаков грамматической формы, нет основания считать более первичной эпоху создания форм. С одной стороны, историко-сравнительные грамматические данные, с другой стороны, простая логическая необходимость заставляет нас признать, что формальное состояние языков явилось из более раннего корневого, и, следовательно, чтобы примирить это положение с наблюдаемым в жизни языков явлением обратного перехода от богатства форм к их падению, мы должны выдвинуть гипотезу о круговом процессе в грамматическом развитии языков. Периоды создания и разрушения грамматических форм, очевидно, периодически сменяются.

Существует еще одна группа языков, представляющая промежуточное звено между корневым и формальным состоянием. Эти языки носят название агглютинирующих. Характеризуются они тем, что в них отдельные корни слова, хотя и приобрели чисто-формальное значение, склеившись с корнями, имеющими вещественное значение, однако, сочетание это не так прочно, как в языках формальных.

Сейчас мы постараемся на примере иллюстрировать историю образования формальных признаков главнейших категорий. Как морфология должна быть рассматриваема нераздельно от синтаксиса, так и образование грамматических форм стоит в связи с эволюцией самого предложения.

В древнейшей эпохе синтаксического развития языка мы наблюдаем два последовательных, но сходных друг с другом периода языка, разбивающиеся на ряд моментов. Несомненно, первоначальный корень (по всей вероятности, с глагольным оттенком) был первым сказуемым, которым человек реагировал на возбудившее его внимание внешнее восприятие, которое и представляло собой психологическое подлежащее. Этот отдельный корень—сказуемое *) был в то-же время и первым предложением, подобным тем предложениям—словам, из которых состоит речь ребенка, развитие которой, как известно, и является параллельным развитию языка человека (Чемберлэн „Дитя“, Мейман „Очерки эсперим. педагогики“). Но скоро, должно-быть, стремление к более точной передаче мысли потребовало указания на предмет, обративший внимание говорящего, и вот, появляется постпозитивно после качественного корня, обозначавшего происшедший факт, указательный корень, относивший названное явление именно к тому или иному предмету. Таким образом, порядок членов этого первого предложения был обратным последовательности элементов психофизиологического процесса восприятия, вызвавшего это предложение, и с психологической стороны это вполне понятно. Первой, конечно, должна была быть сама звуковая реакция, более непроизвольного характера, вторым следовал отчет в том, что вызвало эту реакцию. И постепенно это сочетание качественного корня с указательными, в которых различаются корни первого, второго и третьего лица, срастается в глагол. Непосредственными остатками этой первой стадии в образовании предложений являются формы 1-го и 2-го лица в санскр., греч. и лат., могущие без личного местоимения составлять целое предложение, затем безличные предложения в современных и древн. индоевроп. языках, которые восходят к прежним предложениям с субъектом.

---

*) Много спорят о характере этих первоначальных корней. Были ли они именами или глаголами? Правильнее всего полагать, что это были ни глагольн., ни именные корни, а близкие в одинаковой степени и к тем и другим.

Мысль о том, что глаголы появились из первоначального предложения с указанной последовательностью членов, подтверждается и не индоевроп. языками, напр., семитическими, урало-алтайскими, в которых личные формы глаголов и представляют сочетание глагольного корня с постпозитивно стоящей формой личного местоимения. Семитич. окончания глаголов (напр., в арабск.) 1-го л. ед. ч. (*ку*), 2-го л. ед. ч. *та* (для м. р.), *ти* (для ж. р.), 1-го л. мн. ч.—*ну* (м. р.), 2 л. мн. ч. *туму* (м. р.), *тина* (ж. р.) представляют сокращение прасемитических личных местоимений *анаку анта, анти, анаһну антуму, антина* (см. „Семитские языки и народы" Теодора Нельдеке в обработке А. Крымского, 1903, стр. 5—6 прим. 10).

Далее затем, отчасти вследствие того, что сростание затемнило первоначальный смысл приставших указательных корней, а, главным образом, потому, что указательный корень 3-го лица имел неопределенное, скорее отрицательное значение (именно мог обозначать все предметы, кроме 1-го и 2-го лица), явилась необходимость возобновить указание на явление, производящее ту или иную деятельность, и вот поэтому рядом с первоначальным предложением—глаголом появляется (сначала только при формах 3-го л.) имя, которое само, в свою очередь, составилось из качественного и указательного корня, правда, иного несколько характера. Это образованное имя и становится новым подлежащим. Таким обозначением подлежащего, напр., в японском языке служит постпозитивная частица *да* или *ва*, в индоевроп. праязыке служило указательное местоимение—*so*, которое, сократившись в—*s*, срослось с предшествующей основой. Но так как это получившееся в результате стяжения новое подлежащее ассоциировалось обычно со сказуемым, обозначавшим в большинстве случаев действие или состояние, то поэтому форма, получившаяся из сращения основы с *s*, приобретает значение *agens'a*. Так, одновременно с забвением прежнего смысла *s*—(< *so*) последний элемент приобретает новое формальное значение.

Но и в этой второй стадии развития предложения предпочитается долгое время еще прежний порядок членов: на первом месте стоит сказуемое, на втором—подлежащее, в чем убеждает нас знакомство с древними языками.

Наконец, как разновидность семасиологического грамматическое развитие характеризуется переходом от конкретного к абстрактному. Нами было уже указано на то, что слова, обозначающие отвлеченные понятия или формальные отношения, первоначально имели материальное, конкретное значение. Связка, роль которой в древнем языке могли играть и более знаменательные глаголы (напр., стоять, лежать, сесть и др.), постепенно утрачивает прежнее конкретное значение.

Ярким подтверждением мысли о переходе грамматического строя от конкретного к более отвлеченному является история падежей. Как доказано большинством исследователей, более древним было локальное значение падежей, позже явилось у некоторых падежей логическое значение. Эта теория носит название локалистической. В противоположность ей логическая теория первоначальным считает логическое значение падежей, напр., по ее мнению, имен. пад. был падежом подлежащего, вин.—падежом ближайшего объекта, дат.—падежом удаленного объекта.

Во II т. своей „Völkerpsychologie“ (стр. 77 сл.) Вундт отвергает, во-первых, установленное деление падежей на падежи с локальным и с логическим значением и предлагает новую классификацию. А именно, он делит их на падежи внутреннего определения (der inneren Determination), к которым он относит имен., вин., род. и дат., и падежи внешнего определения (der äusseren Determination), к которым причисляются им все остальные падежи. Отличие первых от вторых заключается, во-первых, в том, что падежи внутреннего определения могут выражаться только основой без прибавления суффиксов, префиксов и предлогов, определяющих отношения между понятиями и представлениями, в то время как в падежах внешнего определения присутствие этих формальных элементов (обозначающих отношение между

понятиями, не данное в самих понятиях), является обязательным и необходимым. Второе отличие между обеими категориями заключается в том, что число форм падежей „внешнего“ определения, обозначающих различные пространственные, временные и причинные отношения, может быть велико, в то время как число падежных форм „внутреннего“ определения ограничено, при чем каждый из падежей выражает одно основное, кардинальное отношение (Grundverhältnis), а именно, имен. пад. Вундт считает специфическим падежом подлежащего, основным и первоначальным значением род. п. является, по его мнению, отношение принадлежности, наконец, в дат. и вин. п. п. он видит обозначения близкого и удаленного объекта. Одним из оснований, заставляющих Вундта отвергнуть деление падежей на падежи с локальным и нелокальным, т.-е. логическим значением, является то обстоятельство, что все предметы, будет-ли это объект или субъект, мыслятся, вообще, в пространстве.

Предложенную Вундтом классификацию падежей тщательному разбору подверг Ант. Марти в своей работе Die „logische“, „lokalistische“, „und andere Kasustheorien“, Halle, 1910. Указав на то, что в действительности и в падежах внешнего определения в сущности нет добавочного представления отношений между двумя понятиями, и на то, что локальные отношения, которые могут быть отнесены по Вундту к разряду „внешних“ определений, выражаются иногда без помощи формальных принадлежностей (Jl demeure rue Corneille; er wohnt Breite Strasse, 20; acheter quelque chose trois écus и др., см. Марти, стр. 14), указав далее на то, что за падежами внутреннего определения нельзя считать закрепленным одно какое-нибудь основное отношение (так, напр., в роли Subjektkasus может явиться и косвенный падеж: Ajo te, Aeacida, komanos vincere posse, id., стр. 38),— Марти предлагает новую классификацию падежей. Он делит их на падежи, выражающие чувства и волевые акты (зват. и dativus ethicus), затем различные формы имен. п., наконец, косвенные пад., которые могут обозначать отношения или аттрибутивности (relativen Be-

stimmungen) или-же соотношения (korrelativen Begriffe), одинаково возможные как в области чувственных и собственно-пространственных, так и в области абстрактно-логических явлений. Но в названных категориях Марти различает падежи с собственным значением (главн. образ., локальным) и падежи с несобственным значением, в которых прежнее чувственное представление играет роль „внутренней формы“ (benehmen sie sich in der Weise; sie sind im Jrrtum), при чем, по замечанию Марти, прежнее чувственное представление может стать внутренней формой не только для обозначения психических, но также и для обозначения физических отношений. Предложенное им деление падежей Марти считает почти совпадающим с прежним делением их на локальные и нелокальные. Из сказанного Марти о падежах с собственным и несобственным значением вытекает его взгляд на происхождение падежей; а именно, если он не считает первоначальными падежи только с пространственным значением, то, во всяком случае, и в падежах с нелокальным значением пространственные представления играют роль внутренней формы *).

И вообще, все формы и формальные принадлежности возникли первоначально из знаменательных слов сконкретным значением. „Есть языки,—говорит Потебня,—в коих подведение лексического содержания под общие схемы, каковы предмет и его пространственные отно-

---

*) Хотя в своей интереснейшей книге „Синтаксические исследования. I Имен., зват. и винит, в связи с истор. развития заложных значений и безличных оборотов в санкр., далее, греч., лат., нем., литовск. и славянск. наречиях“, 1881, к сожалению, неизвестной не только западным, но и многим русским ученым, безвременно скончавшийся ученик Потебни—А. Попов, и дает критику локализма и первоначальный винит. считает винительным независимым, однако, у него находим много интересных примеров, указывающих на первоначальное пространственное значение современных непространственных падежей (напр., вин. п. на вопрос *где* в укр. *кінець стола, край села* и др.); и одно из главных положений его книги, что вин. п., первоначально указывавший на больший предмет, позже стал указывать на дальнейший, второстепенный для мысли, т.-е. сделался падежом объекта, имен. же пад., служивший указателем ближайшего предмета, стал обозначать позже ближайший, главный для мысли предмет, сделался падежом подлежащего (op. cit., стр, 29—30),—разве это положение не дает нам права отнести Попова все-таки к сторонникам мнения о первоначальной конкретности падежных значений.

шения, действие, время, лицо и пр. требует каждый раз нового усилия мысли. То, что мы представляем формою, в них является лишь содержанием, так что грамматической формы они вовсе не имеют (Из запис. по русск. граммат., I, стр. 37—38). Для того, чтобы выразить в этих языках, напр., nomen agentis, нужно к глагольной основе прибавить слово „человек" (retten-mensch); для того, чтобы выразить отношение А за В, нужно сказать: А спина В (примеры эти заимствованы Потебней у Штейнталя). Формальные отношения в таких неформальных языках будут выражаться лишь реальными, знаменательными словами.

Но постепенно употребляясь уже в таком переносном значении, прежнее знаменательное слово потеряет первоначальный реальный смысл и превратится в формальное слово, которое, в конце концов, может срастись с другим словом и стать его флексией.

Переходу знаменательного элемента речи в формальный могут способствовать фонетические изменения, которые приводят постепенно к забвению первоначального его смысла.

Макс Мюллер, видевший в грамматических формах „мумиеобразные" остатки прежней жизни слова, причиной их образования считал фонетические изменения. Создание грамматической формы начинается с того момента, когда, вследствие фонетического изменения, или „фонетической порчи", как выражается М. Мюллер, элемент речи теряет свою знаменательность. Значение же этой новообразованной формы передается следующему поколению уже, как традиция.

Против этого возражал, однако, Потебня; но его соображения по этому поводу носят общий характер и не подрывают убедительности положений Макса Мюллера.

„То, что Мюллер называет отсутствием жизни в слове и его непонятностью, — говорит Потебня, — есть только новое появление жизни, новая понятность: изменение функции слова, образование нового слова из прежнего. Значит, дух правит звуком в слове" (Из запис. по русск. гр. I, стр. 63).

Никто не спорит против того, что грамматические формы создаются деятельностью нашего духа, но несомненным все-таки является то, что знаменательный элемент приобретает формальный характер, лишь потеряв свою прежнюю знаменательность, или, выражаясь иначе, скажем: прежний знаменательный элемент становится флексией или суффиксом, лишь потеряв свою „внутреннюю форму“. Всякий согласится также и с тем, что создание грамматической формы есть появление новой понятности, нового формального значения, но это появление предполагает все-таки необходимым исчезновение прежней его понятности — прежнего реального значения.

Но более важной причиной превращения знаменательных слов в формальные слова или принадлежности являются не фонетические изменения, которых может и не быть, а вообще более частое употребление. По словам Мейе, при каждом новом применении выразительность слова уменьшается; никакое слово во второй раз не может быть произнесено с таким же самым чувством и смыслом (Linguistique historique et linguistique générale, Paris, 1921, стр. 135).

В справедливости всего сказанного можно убедиться, вскрывая этимологию формальных принадлежностей слова, где это доступно анализу. Мы увидим, что многие формальные элементы, не понятные на первый взгляд, т.-е. не содержащие „внутренней формы“, в действительности, происходят от первоначальных конкретных, знаменательных элементов. Так, напр., окончание французских наречий образа действия — *ment* восходит к твор. пад. ед. ч. латинского слова *mens*: *mente* — разумом, способом и означает то же, что и немецкое окончание подобных наречий — *weise*. О первоначальной конкретности значения предков некоторых современных глагольных и падежных окончаний нам уже приходилось говорить.

Наконец, удвоение основы образовалось из двух повторяющихся слов, чем хотели обозначить иной оттенок значения, главн. образ., усиление признака; срв. укр. синє, синє-голубий (Шевченко, Сотник) и др.

Подобного рода примеры могут служить, между прочим, косвенным доказательством существования дофлексивного периода языка, указывая на то, что все как реальные, так и формальные принадлежности происходят от отдельных (знаменательных) корней.

Рассмотренные черты развития грамматического строя больше касаются жизни внутренней семасиологической стороны грамматич. форм. Но не остается без изменения внешняя сторона форм, т.-е. формальный состав слов. Эти изменения морфологических частей слова, большей частью, обусловлены различными фонетическими причинами. Проф. Богородицкий различает 4 вида подобных изменений: а) опрощение, б) переразложение, в) аналогия и г) диференциация (Общ. курс русск. граммат., 1907, стр. 113—120).

Опрощением он называет такой процесс, когда слово теряет связь с другими словами или вследствие того, что последние исчезли, или же вследствие того, что подверглись звуковым изменениям, отдалившим их от данного слова. В результате перестают сознаваться отдельные морфологические части и в подвергшемся опрощению слове возникают новые корни или из сочетания прежнего префикса и корня (по-яс) или же из сочетания корня и суффикса (палк-а; добр-ый). В качестве примера можно привести еще слово *велик*, в котором не сознается уже ни корень вел- (срв. вел-ий), ни суффиксик (срв. толикъіи).

Очень распространен в жизни языков процесс переразложения, при чем чаще переразложение происходит в области суффиксов; обычно в результате фонетических изменений звук, первоначально заканчивавший основу, отходит к суффиксу. Так, напр., вследствие того, что тематическое *o* (у о-основ) вместе с последующим падежным окончанием подверглось различным изменениям (в им. п. $o\text{-}s > u\text{-}s > \bar{u}$; в род. п. $\bar{o}d > a$; в дат. $oi > y$ и т. д.) в качестве основы стала сознаваться предшествующая этому *o* часть основы и, таким образ., в русском и других словянских языках прежние *o*-основы являются уже основами на согласные. Реже наблюдается

обратное явление—отсечение звука от суффикса в пользу корня. В качестве примера можно привести корни на — *s* (> *ch* при известных условиях): *дух-ъ* и др., которые в индо-европ. праязыке оканчивались на гласный, так как это — *s* — представляло собою формант. Часто это отсечение звука от суффикса в пользу корня обусловлено бывает опрощением, как, напр., в словах *палк-а, добр-ый* вместо *пал-к-а доб-р-ый*; срв. *пал-иц-а, у-доб-н-ый.*

Рассмотренные виды изменений имеют наиболее существенное значение, так как 3-й вид, аналогия, часто связанный со 2-м, представляет собственно разновидность новообразования по аналогии*) (см. ниже), 4-й же вид, диференциация, относится уже собственно не к изменению внешней стороны формального состава слов. Заключается она в том, что за однозначащими первоначально формальными элементами (напр., за окончаниями *у - и - а* в род. п. ед. ч. м. р.) начинают постепенно закрепляться различные оттенки значения; а именно, — *у* обособилось за вещественным названием, зависящим от слова, обозначающего количество. В польском языке эти различные окончания связались с другими семасиологическими различиями: — *a* закрепилось за личными названиями (chlopa), — *u* за названиями неличными, куда относятся названия неодушевленных предметов и животных (dębu).

Новообразование по аналогии.

Главным фактором в истории языков, упрощающим их в морфологическом отношении, является новообразование по аналогии. Постараемся на примере выяснить сущность этого явления.

Перешедшее к нам из французск. яз. слово *пальто* как иностранное слово, по принятой в литературном русском языке традиции, не должно склоняться. Но

*) Привожу примеры из Пешковского (Русск. синт., стр. 34). Явившийся в результате переразложения суффикс — *щин* — (*из-ск-ин*), напр., в слове *зем-щ-ин-а*, переносится на новые случаи, где он не мог возникнуть фонетически: *нелегальщина* и др.

так как оно совпало по своему окончанию с такими словами средн. рода, как окно, село, то поэтому мы, приняв конечное *о* за признак имен. под ед. ч. ср. р., бессознательно отделяем его от основной принадлежности пальт;—при образовании-же форм других падежей мы можем присоединить окончание род. пад. ед. ч.—*а*, дат. пад.—*у*, присущие словам средн. р. на—о, к основной принадлежности пальт,—в результате чего получается так называем. новообразования по аналогии: пальт-а, пальт-у. Мы заменили менее привычное и потому несколько странное для слуха окончание *о* для род., дат. и друг. падежей—более привычными для слов средн. р. окончаниями а, у. В качестве примера новообразования по аналогии мы взяли склонение слова *пальто*, чтобы попутно подтвердить мысль о необходимости руссифицировать иностранные слова, поскольку это является возможным. Более смелыми оказываются в этом отношении другие словянские языки. Так, напр., в польск. склоняются фамилии как Руссо (Roussa, Roussem), Марини (Marinego, Marinemu) и т. п.

Новообразование по аналогии является важным творческим фактором, благодаря которому ребенок научается склонять и спрягать каждое новое существительное и глагол.

Двигателем этого новообразования является сложный психологический процесс, в составе которого мы усматриваем, во-первых, ассоциацию по сходству и, во-вторых, ассоциацию по смежности.

Окончание *о* в слове пальто напоминает нам о ряде слов с таким-же окончанием, и мы бессонательно наделяем это слово теми-же формальными семантическими отличиями, которыми характеризуются слова окно, село; но при образовании форм остальных падежей от этого слова, напр., род. пад., вступает в свои действия ассоциация по смежности: окно—окна, село—села, и под влиянием этих ассоциационных рядов образуется форма род. пад. пальта.

Еще во второй половине прошлого столетия Курциус аналогию не считал законом, а видел в ней простое исключение. Но широкое господство этого явле-

ния в жизни разных языков постепенно привело к противоположному мнению.

Против Курциуса выступил Пауль в своих „Principien". Но интерпретацию этого явления в учении Пауля мы, вслед за проф. Томсоном, не считаем вполне правильной.

Пауль, как известно, объяснял новообразование по аналогии как решение пропорции, которая образуется из скрещивания грамматических групп. Форму род. пад. ед. ч. *пальта* можно объяснить как результат решения пропорции: окно: окна = стекло: стекла = пальто: х, откуда х = пальта. Но в действительности дело не так обстоит. Употребляя форму пальта от пальто, мы в ту минуту совершенно не думаем о коррелятах: окно—окна, стекло—стекла;—мы бессознательно присоединяем к основной принадлежности пальт—окончан. род. пад. ед. ч.—а.

Если еще тысячу лет тому назад русский или болгарин стал употреблять в значении род. пад. ед. ч. форму сына вм. более правильной сыноу по аналогии с формами волка, отца, он также не решал никакой пропорции. Вся причина заключалась в том, что более привычная ассоциация по смежности: ъ—а (столъ—стола) вытеснила менее привычную ассоциацию: ъ—оу (сынъ—сыноу). Первоначальным-же поводом явилось совпадение форм этих слов в имен. пад. ед. ч.: столъ, сынъ.

Все сказанное убеждает нас в том, что новообразование по аналогии не является исключением, как полагал Курциус. Заменяя мало употребительные сочетания более привычными, она именно и стремится к уничтожению всех исключений и редких форм, затрудняющих работу мысли, и упрощает язык. В ее основе лежит тот-же общий всей душевной деятельности человека *принцип экономии мышления.*

Из различных случаев аналогии внимание лингвистов привлекает особый вид аналогии, который я, вслед за А. Поповым (Синтаксические исследования, 1881, стр. 53, прим.), считаю наиболее удачным назвать *ложной аналогией.* Приведя в качестве примера форму *влавий* вместо *воловий* в переводах Мартынова из Гомера,

А. Попов определяет ложную аналогию как „процесс мысли, при котором, на основании видимого сходства, явления, существенно различные, рассматриваются и трактуются какъ тожественные".

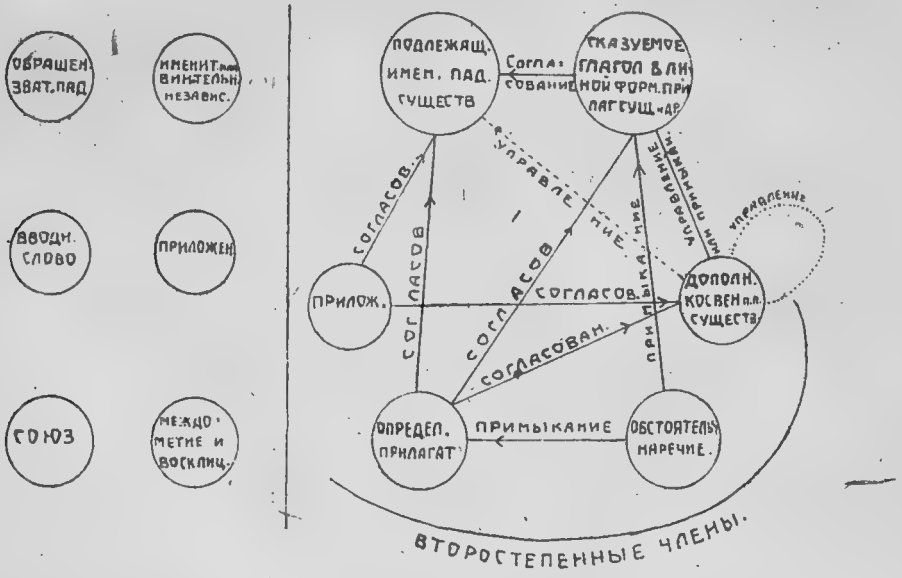
Подобному явлению финский лингвист Оянсуу дает название *Zweckanalogie* (Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego dzialalnosci naukowej, 1868 — 1921, Krakow, 1921, стр. 30 — 39). Статьей Оянсуу, приводящего примеры только из финских языков, вызвана помещенная тотчас-же за ней статья Калимы (стр. 40 сл.), который, переведя предложенный Оянсуу термин на польский язык (*celowa analogja*), ссылается на достаточно хорошо известные случаи из сев.-великорусск. наречия как *корета*, *графин*. Приведенные примеры дают нам возможность более точно формулировать сущность рассмотренного вида аналогии. Развивается она в том или ином языке при условии существования в нем рядов слов, заимствованных из другого языка, и заключается в том, что под влиянием сознаваемых звуковых различий в этих обоих рядах данное различие вносится населением (почему-то избегающим своего произношения) и в те слова, которые, в сущности, должны звучать одинаково в обоих языках. Под влиянием подобного-же „лукавого мудрствования" русских писцов возникают в наших памятниках XV в. такие мнимо-старо-словянские формы как *мужду* вместо *мужу*.

Родственными по происхождению являются такие правописные ошибки в школах нашего времени как *одинакого* вместо *одинаково*, обязанные своим возникновением сознаваемому отношению различия двух рядов — произносимого и правописного (напр., *молодого*: *молодово*).

Здесь-же попутно мы упомянем еще о народной или ложной этимологии, хотя это изменение, основанное на ассоциации по сходству внешней, звуковой стороны слов, можно было рассмотреть и в отделе фонетики. Заключается народная этимология в том, что какое-нибудь непонятное, чужое слово осмысливается приведением в связь с каким-нибудь сходным по звуковой оболочке и понятным словом, которое и раскрывает эти-

мологию этого чужого слова, ложную, правда, и ошибочную с нашей точки зрения. Это осмысливание вызывает, конечно, соответствующие звуковые изменения данного слова. Вот несколько примеров народной этимологии: *вертипас* в значении ватерпас в уральск. говоре (см. „Матеріалы для русскаго словаря“ С. К. Булича в I т. Изв. отд. р. яз. и сл. Росс. Акад. н., стр 297), *копитал* (=капитал) от слова копить (у Достоевского в „Записк. из Мертвого дома“). На одесском базаре мне пришлось слышать от торговцев выражение *перец окаянский* в значении *перец кайенский*. Иногда два слова сливаются в одно: из *фимиам* и *миазмы* получилось *фимиазмы* (другой запах), но, в сущности, здесь мы имеем разновидность контаминации. Особенно много подобных новообразований у Лескова.

В заключение предлагаю схему для повторения в школе грамматики; согласно развиваемой мною точке зрения, она представляет собою тесное сочетание элементов морфологии и синтаксиса простого предложения.



В пояснение к схеме нужно сказать следующее: 1) в ней, во-первых, расширена формула способов выражения сказуемого; 2) обстоятельствами мы считаем только наречия в широком смысле (включая сюда и

деепричастия), так как такие примеры как *в городе* и и др. мы вслед за формалистами относим к дополнениям, считая возможным поставить вопрос „*в чем?*“; 3) дополнение может не только управляться сказуемым, но и примыкать к нему (см. у Пешковского, Русск. синт. 2, стр. 168 сл.); пунктиром в сторону подлежащего и самого-же дополнения обозначается приименное дополнение (*дом отца*); 4. об именит. и винит. независимом *они живут друг возле друга; идут рука в руку; золотая корона весом* (*в*) *фунт* и др.), о которых так много говорится в „Синтаксических исследованиях“ А. В. Попова, обычно забывают в школьных грамматиках. Следует, правда, оговориться, что имен. и вин. независимые немного все-таки могут тяготеть и к сказуемому или другим членам, и потому мы, приняв это тяготение за примыкание, могли-бы сопоставить их с обстоятельствами, но от последних они все-таки отличаются большей степенью самостоятельности; 5) на нашей схеме приложение, т.-е. определение, выражаемое существительным, находится и с одной и с другой стороны черты. Как указал еще Овсянико-Куликовский в своем „Синтакс. русск. яз.“, степень зависимости приложения от определяемого слова может быть самой различной, доходя до полного грамамтического разрыва (у царевича Петра—златые ключи, за Москва-рекой и др.*). На большую слабость подчинения приложения своему определяемому указывает и Пешковский (Русский синтакс. 2, стр. 192 сл.).

---

*) Примеры мои.

ГЛАВА IX.

Отношение между грамматикой и логикой.

В этой главе, являющейся заключением всего сказанного о языке и его изменениях, мы постараемся установить общую точку зрения на природу языка. Эта задача стоит в тесной связи с вопросом об отношении между грамматикой и логикой. Выясняя эти отношения, мы должны будем затронуть вопрос о так называемой логической или всеобщей грамматике.

Всеобщая грамматика выросла на почве средневековой схоластики с ее традиционной латынью.

Но первоначальная причина заблуждений всеобщей грамматики коренится еще в учении Аристотеля, смотревшего на язык, как на совокупность внешних средств для выражения готовых логических понятий.

Самыми главными представителями всеобщей грамматики являются Беккер и Германн.

Первый учил, что мысль априорна языку, и что все наши понятия исходят из 12 кардинальных понятий. Язык же является органическим воплощением общей идеи (см. сочинен. последнего „Organismus der Sprache“).

Сочинение Германна „De emendanda ratione graecae grammaticae“ представляет наиболее яркий образец подобного рода сочинений. Германн считал, что в каждом человеческом языке должны существовать склонение с шестью падежами, грамматический род и число, степени сравнения и система спряжения. Созданием своей грамматической схемы Герман был в значительной степени обязан влиянию кантовского учения о категориях.

Сравнивая между собой языки, мы, однако, приходим к убеждению, что они отличаются друг от друга не только внешней, но и внутренней формой слов.

Так, русск. *сосед* означало „сидящий рядом", нем. Nachbar дословно означает „следующий", латинское-же „vicinus" мы переводим словом „сельский, односельчанин". Различны также этимологии слов *закон* („ограничивающий, ставящий предел", срв. того-же корня конец, искони), нем. Gesetz („поставленное") и лат. *lex*—(„прочитанное").

Но самые коренные различия языков заключаются в их грамматическом строе. В каждом языке мы находим свою систему предлогов, имеющих исходным пунктом различные конкретные представления, находим различные способы их управления или, вообще, встречаем в нем особые, лишь этому языку присущие категории. Так, в готтентотском языке нет категории глагола. Спряжение глагола видеть: *я вижу*, *ты видишь*, *он видит*—выражается в нем посредством сочетаний: мои глаза, твои глаза, его глаза.

Таким образом, не может быть речи о создании всеобщей грамматики. Все грамматические категории, являясь априорными всякому чувственному опыту, будут, однако апостериорны и зависимы от языка.

Некоторые ученые в своем отрицании всеобщности человеческой грамматики доходят даже до отрицания всеобщих логических категорий. Всеобщей логики, по их мнению, нет, и говорить можно только о национальной логике данного народа. Но этот взгляд является, конечно, крайностью. Мы не можем, вслед за Германном, предполагать в каждом языке существование системы склонения с шестью падежами и спряжения с обязательным страдательным залогом, но все-таки мы признаем всеобщность логического мышления.

Основная ошибка всеобщей грамматики заключалась в ее методе. Вместо того, чтобы обратиться к сравнительному изучению большего числа языков и индуктивным путем открыть общее всем этим языкам, она базой своих выводов сделала латинский язык и априорно подчинила все языки схеме латинской грамматики.

Первым выступил с отрицанием всеобщей грамматики Штейнталь, определенно отделивший грамматику от логики.

Свои взгляды на природу языка он выразил в труде „Grammatik, Logik und Psychologie“ и в небольшой статье „Idealismus in der Sprachwissenschaft“, написанной по поводу книги Потта „Etymologische Forschungen“.

В последней статье Штейнталь категорически заявляет, что нет ни общих понятий, ни постоянных грамматических категорий, как нет в идеалистической философии постоянного бытия; язык является лишь выражением национального миросозерцания отдельного народа. Слова: der Mensch, греч. ἄνθρωνος, лат. homo, русск. человек, отличающиеся во всех языках не только внешней, но и внутренней формой, будут, по мнению Штейнталя, не разными выражениями одного и того же понятия, а совершенно различными словами. Что иным образом выражается, то будет и иным словом.

Но нельзя не заметить односторонности в учении Штейнталя. Можно не соглашаться с методом и основными положениями старой логической грамматики; но, ведь, существует общее во всех языках, что делает возможным взаимное понимание и общение народов.

Несомненная заслуга Штейнталя в том, что он отделил грамматику от логики. Это он сделал в своем сочинении „Grammatik, Log. und Psychol“.

Названный труд он начинает опровержением выводов логической грамматики и, особенно, учения Беккера, который в „Organismus der Sprache“ старался доказать соответствие между логикой и грамматикой.

Прежде всего несоответствие между грамматикой и логикой выясняется для Штейнталя из разницы между предложением и логическим суждением, в чем и мы имели возможность убедиться в VI главе. Суждение и предложение—не одно и то же.

По мнению Штейнталя, логика не сможет даже указать разницы между двумя суждениями или двумя понятиями. Это может сделать только психология. Логика же берет как суждения, так и понятия уже готовыми. Свои мысли Штейнталь иллюстрирует рядом при-

меров. Во-первых, несоответствие между суждением и предложением обнаруживается в условном предложении: здесь одно суждение выражено двумя предложениями. Также и в разделительном предложении одна определенная мысль или суждение выражается посредством двух или нескольких предложений, при чем смысл такого суждения дается ни суммой предложений, равно как и ни каждым из этих предложений в отдельности, но лишь взаимоотношением этих предложений. С другой стороны, одно распространенное предложение представляет столько суждений, сколько мы имеем второстепенных членов в предложении, так как логике не известно ни понятие объекта, ни аттрибута, ни понятие обстоятельства. Далее Штейнталь указывает на несоответствие между наклонениями в грамматике и логическим делением суждений на ассерторические, проблематические и аподиктические. Повелительная же форма „*иди*“ не будет совершенно суждением, являясь, однако, предложением по грамматической форме.

Но важнее всего несоответствие между логическими и грамматическими категориями *).

Проведенное Штейнталем разграничение грамматики от логики является совершенно правильным, но мы считаем слишком крайним и необоснованным высказанное им в статье „Idealismus in der Sprachwissenschaft“ мнение о том, что нет ни общих понятий, ни постоянных грамматических категорий.

Можно признать независимость грамматических категорий от логических, можно согласиться с тем, что в грамматическом строе один язык может значительно отличаться от другого, но все-таки все языки имеют в то же время много общих отвлечений мысли, как субстанция, действие, признак, которые скрываются под той или иной формой.

Если мы в готтентотском языке не находим категории глагола, мы должны искать ее, по словам самого Штейнталя, в известных формах словосочетаний, заме-

*) В позднейшее время к идеализму склонялся Фослер в книге „Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft, 1904.

няющих эту категорию. Мы уже видели, что исчезновение внешней формы не означает исчезновений категории. Форма ablativus'a исчезла в русском языке, но она заменилась формой родит. пад. с предлогом. Произнося словосочетание *из норки*, мы можем не чувствовать того, что чувствовал древний индус, произнося форму ablativus'a *vivarad*, но сочетание предлога *из* с род. *норки* обозначает все-таки то же отношение мысли, что и санскр. vivarad. Директор заведения для глухонемых. Сикар в своем сочин. „Eléments de gramm. génér., appliqués à la langue française", вышедшей еще более ста лет тому назад, считает возможным передавать даже глухонемым различные грамматические понятия.

Итак, мы признаем всеобщность категорий мысли, сохраняющуюся не во внешних формах, различных для каждого языка, а лишь в значении. Всеобщность значения главнейших категорий обусловливается общностью психологического происхождения.

Общие всем языкам грамматические категории или части речи создаются лишь в психическом процессе суждения—этой неизменной и постоянной схеме человеческого мышления, общность которой, в свою очередь, обусловлена единством психической организации человека.

Таким образом, более первоначальным является единство человеческого синтаксиса, т. е. присутствие в языках подлежащего, сказуемого и остальных членов предложения, это же единство влечет за собой известную степень сходства главнейших категорий грамматики.

Различие внутренней формы отдельных слов также не является важным препятствием к признанию общности человеческого мышления.

В значениях слов, употребляемых в разных языках для обозначения одного и того-же понятяи, но обладающих различными внутренними формами, мы находим все-таки ингредиент постоянных существенных признаков, составляющих содержание обозначенного понятия. Синонимы, соответствующие друг другу в разных языках, напр., нем. zweifeln, фр. douter—собственно раздваи-

ваться и русск. *сомневаться* от корня *мьн-ить* думать, несмотря на различие внутренних форм, будут выражать все-таки одну и ту же мысль.

Если языковед, принимающий субъективно-идеалистическую точку зрения, в доказательство приводит различие внутренней формы слов, он учитывает, в сущности, одну сторону явления. Для нас ясно, что различна лишь „внутренняя форма", как субъективный способ представления одного и того-же значения, но логический смысл этих синонимов будет общий. Признак, этимологически выраженный во внутренней форме слова, не может быть заместителем всего значения, и мы его не должны отожествлять с самим понятием как комплексом постоянных признаков. Кроме того, внутренняя форма, ведь, скоро стирается и забывается.

В ряде слов, взятых из разных языков, могут быть обозначены различные признаки данного предмета, но мы никогда не сомневаемся в общности и постоянстве обозначенных словами представлений.

Постулированная нами общезначимость понятий, логически-необходимая и независимая от субъективных выражений языка, и является основанием того объективного постоянного бытия, которое мы приписываем этим понятиям.

Всеобщими и логически-необходимыми будут для всех языков формы отношений мысли или логические категории, которые, подобно кантовским формам чувственного воззрения—пространству и времени, являются априорными всякому чувственному опыту. Но будучи априорными опыту, они, однако, апостериорны фактам языка. В каждом отдельном языке их существование открывается a posteriori, в результате изучения его грамматического строя.

Установить более беспристрастное отношение ко всеобщей грамматике старался также значительно расходящийся со Штейнталем Потт в своей книге: „Введение в общее языковедение". Он говорит, что со времен Штейнталя и Лацаруса „вошло в моду смотреть с большим пренебрежением, несмотря на много несомненных заслуг ее" на всеобщую грамматику. Разбирая

учение Штейнталя, Потт доказывает, что грамматические и семасиологические различия языков сводятся лишь к субъективному несогласию в восприятиях. Субъективны лишь средства, которыми пользуется язык для достижения объективно-одинаковой цели обозначения.

Латинск. *timeo ne veniat*—„боюсь, что прийдет" представляет лишь кажущееся разногласие с соответствующим синтаксическим оборотом в нем. яз.: ich fürchte, dass er komme (также и в русск. яз., добавим мы). „Действительно,--говорит--Потт, страх—чувство смешанное, в котором желание и ожидание противодействуют друг другу". И различие между русск. и немецк. языками, с одной стороны, и латинским, с другой, в том, что в первых „боюсь, что прийдет"—указано лишь на предмет ожидания, в то время как в латинском лингвистически подчеркнуто нежелание; срв. также русск. *боюсь, чтобы не пришел.*

Почти сходные взляды высказаны были еще Бозе. (*Beauzée.* Gramm. générale en exposition raisonnée des éléments nécessaires du language, pour servir de fondement à l'étude de toutes les languages), который впервые обратил внимание на изучение непереводимых идиомов. Ознакомившись с характерными различиями не только индо-европейских, но и семитических языков, Бозе пришел к выводу, что различия в языках ничто иное, как различные виды общих принципов, общих основных законов. Каждый язык, по его мнению, можно свести к достаточно малому числу необходимых элементов речи и к простому, краткому и однообразному методу.

В новейшее время общность и однородность языков старается доказать Тромбетти (в кн. „Elementi di glottologia", Bologne, 1922). Основываясь на ряде сходных явлений как в области фонетики, так и в области грамматики, он приходит даже к мысли об единстве происхождения всех языков. Феноменальный знаток человеческих языков, покойный уже немецкий филолог Финк в своем труде „Die Sprachstämme des Erdkreises", 1909) также проводит мысль об единстве происхожде-

ния всех языков земного шара*). Этот вывод об едином родоначальнике всех языков, к которому историко-сравнительным путем приходят и другие лингвисты (см. след. главу), является не вполне правильным. В предыдущих двух главах мы указали на общность синтаксических категорий и на одинаковые пути развития различных неродственных языков; в III главе указали мы на то, что из бесчисленного множества оттенков звуков в различных языках выбирается небольшое сравнительно количество типов, почти одинаковых для всех языков. Но это сходство грамматического строя объясняется одинаковыми психологическими условиями, в которых этот строй зарождается; совпадение-же звуковых типов разных языков объясняется одинаковыми физиологическими условиями их производства, а также тем, что из звукового многообразия выбираются „более удобные“ и более устойчивые типы. Таким образ., для объяснения сходства в развитии человеческих языков мы должны выдвинуть гипотезу не общего происхождения от одного родоначальника, а гипотезу тождественности психологических и физиологических оснований жизни языка, т.-е. должны предложить теорию, подобную антропологической теории происхождения сказок, которая сходные сказочные сюжеты у различных народов, никогда не соприкасавшихся друг с другом, объясняет их общим психологическим развитием.

---

*) Но в своей работе, вышедшей в следующем году (Die Haupttypen des Sprachbaus) он устанавливает восемь главных типов человеческих языков.

ГЛАВА X.

Понятие о сравнительном языковедении.

Общее языковедение считают введением к дальнейшему историко-сравнительному изучению языков. Этот путь перехода от основных принципов общего языковедения к сравнительному изучению отдельных семей языков является, так сказать, дедуктивным. Но возможен и обратный путь научной лингвистической работы. Общее языковедение, в свою очередь, может обогатиться выводами, добытыми индуктивным путем, в результате историко-сравнительных исследований.

Таким образом, ясно, что обе отрасли филологических знаний—общее и сравнительное языковедение, пользуются взаимными услугами.

Дополняя друг друга, они относятся одна к другой, как описание какого-нибудь явления к его истории. Сравнительное языковедение распадается на те-же отделы, что и общее языковедение, т.-е., на фонетику, семасиологию и грамматику. Нужно заметить, что названные науки об языке являются чисто теоретическими науками, которые мы отличаем от практического знания языков.

Языковедение, как теоретическая наука, удовлетворяет часто лишь одним духовным потребностям человека.

Теперь мы постараемся определить сущность историко-сравнительного изучения языков.

Историческое изучение языка, восстанавливающее его прошлую жизнь, неизбежно является в то же время сравнительным.

Первым и самым главным источником для изучения истории языка являются памятники письменности; период-же, предшествовавший появлению письменности, мы можем восстановить только путем сравнительного метода. Сравнивая между собой языки, мы замечаем сходство между некоторыми из них.

Углубляясь в прошлую жизнь этих сходных языков, мы видим, что чем дальше мы идем вглубь веков, тем больше сглаживаются между ними черты различия. Это заставляет нас предположить, что данная группа сходных языков явилась из одного общего языка, который мы называем праязыком. Языки-же, происшедшие из праязыка, мы можем назвать его наречиями или диалектами.

Воспроизведение фактов праязыка является в большинстве случаев гипотетическим, так как у нас нет возможности подтвердить документальными данными наши предположения.

Привожу для иллюстрации пример исторического вывода, сделанного на основании сравнительных наблюдений.

Определяя время возникновения известного уже нам из IV главы перехода задненебных г, к, х в шипящие ж, ч, ш перед следующими передненебными гласными и сравнивая с этой целью различные словянские языки, мы замечаем, что подобное смягчение задненебных согласных является общим всем словянским языкам. Отсюда мы делаем следующий вывод: это явление должно было возникнуть в эпоху совместного существования словян, т.-е. в эпоху прасловянского языка.

Выясняемые путем такого историко-сравнительного изучения родственные отношения между языками Шлейхер наглядно изображает в виде так называемого родословного дерева языков.

Самой известной и разработанной в науке является индо-европейская семья языков, происшедшая из одного общего *индо-европейского* праязыка.

Из этого праязыка, как основного ствола, вышли следующие большие ветви: индийская, иранская, армян-

ская, албанская, греческая, италийская или романская, кельтская, германская, балтийская и словянская.

Эти ветви, в свою очередь, дали более мелкие разветвления, по отношению к которым эти большие ветви также являются праязыками.

Следовательно, мы можем говорить об индийском праязыке, иранском, армянском и т. д.

Отдел языковедения, посвященный сравнительному изучению индо-европейской семьи языков, носит название сравнительной грамматики индо-европ. языков.

Остановимся подробнее на обзоре некоторых из перечисленных ветвей.

В индийской ветви место самых древних его членов занимают ведийский и санскритский языки. Ведийским языком называется язык религиозных стихов или *вед*, сохранившихся в четырех сборниках.

Древнейшие из этих стихов возникли еще за 2000 лет до р. х.

Более молодым наречием древне-индийского языка, сравнительно с ведийским, является санскритское наречие или просто санскрит. На нем написаны поэмы Рамаяна и Магабгарата. Отрывок из последней поэмы под заглавием „Наль и Дамаянти“ переведен Жуковским, который, однако, не знал санскрита и вместо оригинала воспользовался немецким переводом Рюккерта. Из других произведений, написанных на санскритском языке, следует назвать сборник басен „Панчатантра“, являющийся источником басенного творчества всех европейских литератур, затем драмы Калидасы „Сакунтала“ и „Урваси“.

Письмо, которым пользовались древние индусы, было силлаибческим, хотя и не вполне выдержанным; называлось оно деванагари.

Санскрит был литературным, искусственным языком; совокупность разговорных наречий древне-индийского языка называлась пракритом; из него развились современные индийские диалекты: бенгали, гинди, гузерати, пенджаби и др. Из пракрита явился, должно быть, и язык современных цыган.

Язык вед и санскрит как наиболее древние языки и, следовательно, ближе других стоящие к своему предку—индо-европ. праязыку, имеют огромное значение для индо-европейской филологии. Санскрит раньше ошибочно считали родоначальником индо-европ. семьи языков, но теперь является совершенно доказанным, что он лишь старший брат других индо-европ. языков.

И старшим он вместе с языком вед является не потому, что раньше других отделился от своего родоначальника, а лишь по той причине, что ему раньше других языков посчастливилось стать языком письменности. Письменность эта и сохранила для нас древнее наследие языка.

Ближе всего к индийской ветви стоит иранская. Самым древним ее представителем является древнеперсидский язык, сохранившийся в клинообразных надписях персидских царей. Другим наречием этой ветви является язык Авесты. Так назывался сборник наставлений Заратуштры или Зороастра.

Позже Авеста была переведена на пехлевийское наречие этой же ветви. Язык этого перевода носит название зенда.

К позднейшим наречиям этой ветви принадлежит ново-персидский язык, на котором написана поэма Шахнаме (книга царей), отрывок из которой „Рустем и Зораб“ также известен в переводе Жуковского, затем белуджистанский и афганский языки, и, наконец, осетинский язык, в котором покойный Всев. Миллер видел наследника языка скифов-сарматов.

Несложной является судьба армянской ветви. В ней выделяется более ранняя его стадия—так называемый *грабар*, зафиксированный уже в памятниках V в. по р. хр. и ставший литературным языком у армян, и разговорный язык, носящий название *ашхарабара*. В современном армянском языке, в котором различаются восточная и западная группы говоров, находим очень много заимствованных слов, особенно из персидского и турецкого языков.

К албанской ветви, представленной в настоящее время албанским языком, в древности относился еще иллирийский язык.

Древне-греческий язык был предетавлен несколькими наречиями: ионическим и родственным ему аттическим, дорическим, эолическим и некоторыми другими.

Раньше всех проникает в письменность ионическое наречие, на котором были написаны поэмы, приписываемые Гомеру; позже ионическое наречие было вытеснено аттическим, которое легло в основу литературного языка (*κοινή*).

К италийской ветви относятся язык древне-латинский, затем современный итальянский, французский, испанский, португальский и румынский, языки, происшедшие из так назыв. „вульгарной латыни".

К германской ветви принадлежит древне-готский, современный немецкий (верхненемецкий, ставший литературным языком Германии, и нижненемецкий или Plattdeutsch), вместе с английским составляющий зап.-герм. группу и, наконец, северо-германская группа, обнимающая шведский, датский, норвежский и исландский языки.

Датский язык долгое время служил государственным языком для Норвегии.

К кельтской ветви в древности относился галльский язык. Остатками ее в настоящее время являются две группы говоров — бритская (бретонский, кимрский языки) и гельская (ирландские, шотландские говоры).

Сравнительно не так давно в Туркестане были найдены памятники тохарского языка, по своим звуковым чертам оказавшегося более близким к западной группе (centum) индо-европ. семьи языков. Тохарские тексты в 1921 г. были изданы Зигом и Зиглингом.

Вследствие движения народов эти ветви могли скрещиваться; результатом такого скрещивания явился, напр., французский язык. В английском языке также немало наслоений. На первоначальную кельтскую основу в эпоху образования англо-саксонских княжеств лег слой германского влияния, ставший преобладающим; еще позже в XI в. после прихода Вильгельма Завоевателя

в англосаксонский язык было привнесено значительное количество элементов французской речи.

Остановимся теперь на словянской ветви.

Выделившись из индо-европ. праязыка, прасловянский язык через некоторое время распался на три главные ветви: южную, западную и восточную.

К южной ветви принадлежит болгарский язык, сербский, одним из наречий которого является язык черногорцев, и словенский. К южно-словянской группе относится и старо-словянский язык, являющийся одним из наречий (македонским) древне-болгарского языка.

Западно-словянскую группу составляет польский язык, близкий к нему кашубский или словинский, чешский, словацкий язык, занимающий срединное положение между чешским языком и карпатско-угорскими говорами украинского языка, лужицкий, распадающийся на два наречия: верхне-лужицкое и нижне-лужицкое, и, наконец, вымерший полабский язык. На последнем языке говорили словяне, жившие когда-то по Лабе *).

Восточно-словянская группа представлена разнообразием всех говоров русских языков, раскинувшихся на огромном протяжении Восточной Европы и Сибири. Русская ветвь состоит из трех больших языков: великорусского, в котором мы различаем северно-великорусское, или окающее наречие и южно-великорусское, или акающее наречие, белорусского и малорусского или украинского.

Таково наиболее принятое в лингвистике деление слов. языков. Но нам следует упомянуть еще о дуалистической гипотезе, высказанной впервые Добровским около ста лет тому назад. Основываясь на некоторых общих чертах, он объединяет русский язык и южно-словянские языки в одну общую юго-восточную группу, которой противопоставляет западно-словянские языки. Дуалистическую гипотезу в несколько измененном виде в последнее время возродил акад. Шахматов.

После своего отделения от индо-европейского праязыка прасловянскому языку пришлось сначала пере-

*) Словянское название р. Эльбы.

жить эпоху совместного существования с языками балтийской ветви. И лишь позже отделился от праславянского прабалтийский язык, который распался на три языка: древне-прусский, литовский и латышский.

Принять гипотезу балтийско-словянского единства вынуждают нас некоторые общие лингвистические черты в языках обеих групп, которых мы не находим в других представителях индо-европ. семьи языков. Эти общие характерные особенности балт.-словянск. языка приводит Бругман в своей „Kurze vergleich. Grammat der indogermanischen Sprachen".

Наряду со сравнительной грамматикой индо-европейских языков существует сравнительная грамматика словянских языков. Так называется один из отделов словянской филологии, предметом которого является более детальное изучение отношений между всеми словянскими языками.

Отделяя сходные черты в словянских языках от их диалектических различий, сравнительная грамматика словянских языков заключает на основании этих общих черт о родстве словянских языков между собою, обусловленном их общим происхождением от одного языка— праславянского. Но праславянский язык по своим особенностям ни в пространственном, ни во временном отношении не является простым и однородным.

В нем нужно различать разные периоды, сменявшие друг друга.

И, таким образом, первая и ближайшая задача сравнительной грамматики словянских языков более точно определяется как *история праславянского языка*.

Установить историю или, вернее, хронологию праславянских явлений дает нам возможность тот-же сравнительный метод, который, однако, в целях своей большей продуктивности должен выходить за пределы сравнения одних только словянских языков.

Определение общих черт словянских языков дает нам возможность восстановить состояние праслов. языка лишь в период, предшедствовший его распадению на отдельные наречия. Более-же древние явления, происходившие в праславянскую эпоху, мы не сможем определить,

оставаясь лишь на почве сравнения словянских языков, Вот здесь-то на помощь приходит сравнительная грамматика индо-европ. языыков, которая даст нам возможность установить то наследие индо-европ. праязыка, которое перешло в прасловянский язык и определило его начальный момент.

Вот две грани прасловянского языка—начальная и конечная, которые устанавливаются историко-сравнительным изучением индо-европейских и словянских языков. Довершить здание прасловянской грамматики — установить процессы, которые могли иметь место в промежутке между этими двумя моментами, и привести все открытые филологическим анализом явления прасловянск. языка в историческую связь друг с другом нам поможет уже логическая работа мысли.

Вторая задача сравнительной грамматики словянских языков—определение диалектических отличий, которые иногда восходят к прасловянской эпохе.

Изображение родственных отношений между языками в виде дерева, являясь простым и удобным в педагогическом отношении, страдает в тоже время некоторыми недостатками. Оно не объясняет причины переходных говоров и некоторых других явлений и невольно заставляет нас предполагать, что языки после своего отделения живут жизнью, совершенно замкнутой и изолированной от соприкосновения с соседними языками.

Но в действительности дело обстоит иначе, и потому теорию родословного дерева следует дополнять „теорией волн“ И. Шмидта.

Диалектические отличия он наглядно представляет себе в виде отдельных кругов, которые могут появляться на поверхности праязыка и, подобно волнам воды от брошенного камня, могут расходиться кругами, встречаясь иногда между собой и обусловливая этим различные комбинационные или переходные диалекты,

Вот почему мы не находим возможным найти точные критерии для различения наречий живого языка от языков, отделившихся уже от своего праязыка. Существование диалектических различий в известной языковой области не отнимает у нас права говорить о

продолжающемся существовании праязыка как обобщения сходных лингвистических черт в отдельных диалектов то тех пор, пока сохраняется связь между этими диалектами.

Еще несколько слов о прародине индо-европейцев. Исследователи первой половины 19-го в. искали её в Азии, но в 50-х г. г. англичанин Латам выступил с критикой теории азиатской прародины, предложив гипотезу европейского их происхождения. Но Европа велика. Одни, как Шрадер, полагали, что в праязычную эпоху индо-европейцы жили в южно-русских степях, другие (как Мух и покойный акад. Шахматов) искали индо-европ. прародину в средней Европе, где-то к северу от Альп. Но в последнее сравнительно время некоторые ученые (Фейст *) и Ростафинский **) снова пытаются вернуться к теории *азиатской* прародины индо-европейцев.

Из других языковых семей по своему культурному уровню и по степени разработанности следующее место занимает семитическая семья, представленная языками древним ассиро-вавилонским (сохранившимся в клинообразных надписях), финикийским и древне-еврейским, который был вытеснен еще до Р. Хр. арамейским языком, наконец, арабским языком

В родстве с семитической ветвью находятся эфиопские наречия в Абиссинии.

Семитическне языки ближе к друг другу, чем индо-европейские. Эта их взаимная близость указывает на то, что они недалеко ушли от своего праязыка и, следовательно, хорошо сохранили старину, что и делает их ценным материалом для выводов общего языкознания.

Характеризуются слова семитических языков трехсложными корнями, в которых постоянным ингредиентом являются согласные звуки; гласные-же служат „внутренними флексиями“ для образования различных

*) Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, Berlin, 1913.
**) O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Slowian w przedhistorycnych czasach, Krakow. 1908.

грамматических форм. Но на основании того, что у сходных по смыслу семитических корней (напр. *нбт*— вырасти, *нбж*—выйти наружу, *нбк*—быть возвышенным и т. д.) повторяются первые два согласные, при третьем согласном отличном, можно сделать вывод, что прасемитические корни состояли только из двух согласных.

Прародиной семитических народов является Аравийский полуостров. В одном из первых томов коллективного труда „Annali Dell'islam", начавшего выходить под редакцией Каэтани в 1907 г., доказывается, что в очень древнюю пору Аравийский полуостров представлял собою зеленый, цветущий край. Но благодаря некоторым космическим причинам Аравийский полуостров начал засыхать и поэтому скоро отсюда одна за другой хлынули эмиграционные волны (аккадская, потом еврейская, арамейская и позже всех—арабская). Эти семитические народы и унесли отсюда с собой воспоминание о рае, т.-е. цветущем когда-то уголке природы в месте слияния Тигра, Евфрата и других рек.

Довольно многочисленной является урало-алтайская семья языков, в которую входят ветви: самоедская, угро-финская (финский, корельский, венгерский, мордвинский, черемисский и другие языки), тюркская (турецкий, татарский, якутский и др. языки), монгольская (монгольский, бурятский и калмыцкий языки) и тунгузско-манджурская.

Характерной чертой урало-алтайских языков, по своему морфологическому типу принадлежащих к агглютинирующим языкам, является так называемая „гармония гласных", о которой у нас уже была речь в главе о звуковых изменениях *).

---

*) Из вымерших языков неиндо-европ. происхождения следует упомянуть еще об аккадско-сумерийском языке. Сумерийцы были предшественниками ассиро-вавилонян в Месопотамии. Язык аккадско-сумерийский который мы находим в числе языков, на которых написаны „хеттские" клинообразные надписи, некоторые причисляли к урало-алтайским языкам, но против этого возражает Клуге (в работе „Versuch einer Beantwortung der Frage: welcher Sprachengruppe ist das Sumerische anzugliedern?", 1921 г.), который, не считая нужным решать вопрос о лингвистическом родстве определяет лишь тип сумерийского языка, сближая его с типом африканских языков. Данных для окончательного разрешения вопроса у нас еще нет.

Упомянув только о других группах языков, разбросанных по всему земному шару,—о хамитской семье, к которой относится древне-египетский с его потомком—коптским языком, о языках Азии—китайском, японском и аравийских языках, о южно-африканских—готтентотском, бушменском и языках семьи банту, о малайских и австралийских и, наконец, о языках американских индейцев, остановлюсь несколько подробнее на рассмотрении языков Кавказа.

Вряд-ли другой край земного шара представляет такой запутанный клубок языков, как Кавказ. Здесь различают две больших категории: 1) языки, принадлежащие к одной из перечисленных ветвей индо-европейской или урало-алтайской (осетинский, армянский, татский, ново-персидский, татарский); расположены они ближе к окраинам Кавказа и 2) языки средней и западной частей Кавказа, лингвистическое родство которых с какими-нибудь другими известными семьями с трудом может быть установлено. Эта категория подразделяется на группы картвельскую (грузинский, мингрельский, лазский и сванетский языки)), восточно-горскую (языки чеченцев, лезгин, аварский, казикумухский и др.) и западно-горскую (абхазский, черкесский и др. языки). Попытку распутать клубок кавказских языков сделал в последнее время акад. Марр (Ж. М. Н. Пр. 1916 г., за май, стр. 1 — 27). Он выдвинул гипотезу четвертой (после индо-европейской, семитской и урало-алтайской) крупной языковой семьи—яфетической, которая оказывается близкой не к индо-европейской и урало-алтайской, а к семитической семье. Подразделяет Марр яфетическую семью на две группы — сибилянтную, т.-е. свистяще-шипящую, представленную грузинским, мингрельским и лазским языками, и спирантную, которую составляют почти все горские языки Кавказа. Скрещиванием яфетической основы с индо-европейской, Марр

Невыясненным остается также лингвистическое родство языка басков, сохранившегося в настоящее время на склонах Пиринейских гор, и языка этрусков. Последний некоторые (напр., Тэйлор) считают туранским языком, другие (Софус Бугге в 1890 г.) сопоставляют его с армянским, третьи (датский лингвист Томсен в 1899 г.)—с лезгинским.

объясняет не индо-европейские элементы в армянском языке. Продолжая работать в том-же духе, акад. Марр основал в последнее время при Российской Академии Наук Институт яфетидологических изысканий. В ряде статей I-го тома трудов этого института (Яфетический сборник, I, Птб., 1922) акад. Марр ищет яфетидизмы в ряде других языков—в германских, словянских, в албанском, греческом и пр.

Влияние акад. Марра отразилось, между прочим, в работе проф. Брауна „Die Urbevölkerung Europas und die Herkunft der Germanen“ (1922); автор ее старается вскрыть яфетическую основу в германских языках.

Еще больше, чем яфетидологическая теория Марра, пошатнул здание современной лингвистики модный теперь на западе „хеттитский“ вопрос. Открытые Гуго Винклером в селе Богазкеой (в Малой Азии) глиняные таблицы с клинообразными надписями были подвергнуты во 2-м десятилетии текущего столетия исследованию Фридр. Грозным и Форрером, которые признали хеттитский язык индо-европейским. Но, в сущности, эти памятники представляющие дипломатическую переписку, написаны на ряде языков (аккадском, сумерийском, древне-индийском, протохаттийском или протохеттитском, каррийском, родственном с языком митани, и палайском), которые названные исследователи связывают нитями с теми или иными семьями (помимо индо-европ., с кавказской, урало-алтайской и др.) *). По словам Гербига (Jndogermanisches Jahrbuch, VIII т., 1922, стр. 18—19), для исследователей самых различных языков теперь открыты богатые клады. „Ob Tiber uda Halys, говорит он дальше, Apennin und Kaukasus einander näher rücken muss sich zeigen“ **).

Но как сопоставления Марра и его теории о скрещении различных семей с яфетической, так и теории о родстве между собой отдельных семей (напр., мысль англичанина Свита о родстве венгрофинских языков с

*) Сблизив яфетическую или алародическую семью с хеттитской, Фармаковский (Русск. Истор. Журн. 1921, № 7) готов признать и скифов „алародо-хеттским“ народом.

**) О хеттском вопросе на русск. яз., см. статью акад. Бузескула в журн. „Наука на Украине“, № 2, 1922, стр. 29—37.

индо-европейскими, высказанное впервые Клапротом (в 1828 г.) мнение о родстве индо-европ. и семитической семей и др.), наконец, гипотеза об общем происхождении всех человеческих языков от одного праязыка,— все они построены на слишком скудных данных; сходные черты представителей различных семейств скорее следует объяснять или случайным сходством или, как говорили мы в предшествующей главе, общностью законов развития человеческих языков.

Проф. Мейе, относящийся отрицательно к теории Грозного,*) верит, однако, в возможность получения положительных результатов сопоставления различных семей, но производимые до сих пор попытки исследователей он считает методологически неправильными: нужно сравнивать не отдельные языки—напр., латинский, еврейский и грузинский, а итоги сравнительных грамматик индо-европ., семитической, урало-алтайской, хамитской и кавказской Liguist. historique et linguistique générale, 1921, стр. 99—100).

Из литературы предмета. Не называя трудов Боппа, Шлейхера, Бругмана и Дельбрюка, Мейе—по индоевропейскому языкознанию и Миклошича, Вондрака—по сравнительной грамматике словянских языков,—трудов, список которых можно найти почти в любой книге по общему языковедению или-же по соответствующему отделу историко-сравнительного языкознания, я назову (кроме упоминавшихся уже в этой главе) лишь более свежие работы:. 1) Миккола „Urslavische Grammatik“ (1913) 2) и 3) Поржезинский „Очерк сравнительной грамматики древне-индийского, греческого, латинского и ст.-слав. языков“ (1912) и „Сравнительная грамматика славянских языков“ (1914), 4) Г. А. Ильинский „Праславянская грамматика“ (1916), 5) Гирт „Indogermanische Grammatik Teil II. Der indogerm. Vokalismus“ (1921), 6) Шрийнен „Einführung in das Studium der indogerm Sprachwissenschaft“

---

*) По его словам, „l'interpré'tation (Грозного) est encore très hypothé'tique, t l'affirmation que la hittite serait indo-européen parait bien aventurée“ e Linguistique histôr. et linguist générale, 1921, стр. 99, прим.).

(1921). Недавно выпущены Отд. русск. яз и сл. Росс. Ак. Наук лекции покойного акад. Фортунатова по сравнительн. фонетике инд.-европ. языков. Библиографические сведения о последних работах по индо-европейскому языкознанию даны в VIII т. п. „Indogermanische Jahrbuch“ (1922).

ГЛАВА XI.

Исторический обзор мнений о происхождении и сущности языка.

Вопрос о происхождении и сущности языка еще со времен греческих философов интересовал человечество. Но все теории по этому вопросу вплоть до XIX в представляли чисто априорные положения, колеблясь обыкновенно между двумя полюсами: *Θέσει* и *φύσει*,—теорией божественного откровения и теорией человеческого изобретения языка.

Первыми задумались над отношением мысли к слову софисты. Один из них, Горгий, доказывавший, вообще, невозможность познания, в своем 3-м положении говорит следующее: „Если познание даже и было-бы возможно, его нельзя было-бы сообщить другим, так как это сообщение возможно лишь при помощи знаков, отличных от предмета, за одинаковое значение которых нельзя поручиться". Интересно, что в этом положении Горгий довольно близко подошел к гумбольдтовскому афоризму: „Слово возбуждает в каждом человеке различные мысли и чувства, и потому всякое понимание есть в тоже время непонимание".

Но, главным образом, все рассуждения древних греков о языке свелись к спору о том, существует-ли между словом и мыслью необходимая связь.

Аристотель и стоики отрицали существование этой связи, большинство-же александрийских грамматиков (аналогисты вместе с Аристархом) ее доказывали. Общее в этих противоположных учениях было то, что все они

смотрели на язык, как на внешнее орудие для выражения мыслей.

Это заблуждение до времен Гумбольдта господствовало в науке; его повторяет даже Гегель в XIX в.

Язык, по представлению до гумбольдтовского языкознания, является лишь системой, совокупностью средств для выражения готовых, постоянных логических понятий.

На почве этого взгляда создалась логическая грамматика, много веков господствовавшая в языкознании. Наиболее характерным представителем логической грамматики в XIX в. является Беккер, который в своем сочинении „Organismus der Sprache“ язык уподобляет организму. Организм, по представлению Беккера, воплощение общей идеи, развивающейся извнутри, из самой себя.

Организм Беккер противопоставляют произведению исскусства, которое создается не внутренней силой, а чисто внешними причинами. Развивая в своих бесплодных формальных разглагольствованиях понятие организма, Беккер одной из характерных его особенностей считает существование в нем полярных противоположностей, которые взаимно обусловливают друг друга (*a* есть только потому *a*, что противоположно *b*, и наоборот).

Формой деления понятия, по Беккеру, является, таким образом, только дихотомия. Основным понятием Беккер считает понятие деятельности, полярной его противоположностью—понятие бытия.

Из этих основных понятий получается путем дальнейшего разделения 12 кардинальных понятий, всеобщих и неизменных.

Предпослав эти рассуждения о сущности человеческих понятий, Беккер переходит к определению природы языка. Язык—такой же организм; он является органическим воплощением мысли. На этом представлении об языке, как организме, Беккер и строит свою логическую грамматику.

Выведенную им логическую схему кардинальных понятий Беккер считает постоянной и общеобязательной для всех языков. Слово, подобно другим организмам, является воплощением единой, неизменной мысли, и потому логическая грамматика для каждого языка пред-

полагает необходимым существование в нем склонения с 6 падежами и спряжения с обязательными действительн. и страдательн. залогами, как в латинском языке. Это ошибочное мнение о полном соответствии между логикой и грамматикой было окончательно подорвано Штейнталем в его „Grammatik, Logik und Psychologie".

Но первым пошатнул основы логической грамматики еще Гумбольдт. Подобно тому, как Декарт положил начало новой философии, поставив „мое" существование в зависимость от „моего" мышления, подобно этому и Гумбольдт первый стал выводить происхождение языка из душевной деятельности. Это положение „cogito, ergo loquor" имеет, по выражению Щтейнталя, для языкознания такое же значение, какое для новой философии— картезианское положение „cogito, ergo sum". (Steinthal, Ursprung der Sprache).

Гумбольдт первый показал, что язык не есть только орудие или продукт; он, главным образом, наша психическая деятельность и существует в ее актах, в речи— ее процессах высказывания и понимания. И готовых понятий язык не выражает: „язык—орган, образующий мысль".

Другой заслугой Гумбольдта является то, что он показал также, что возникновение языка возможно лишь в обществе.

Смена рационализма романтизмом отразилась и в языкознании, приведя к идее национального духа. Наиболее яркое выражение эта идея нашла в философии Гегеля, оказавшего влияние на Гумбольдта, предшественником-же их является уже Гердер.

При ближайшем рассмотрении приведенных положений мы встретимся, однако, с рядом противоречий, которые Гумбольдт сознавал и изложил в своем учении об антиномиях.

Язык—душевная деятельность; но „душевная деятельность не будет танцем, который, прекращаясь, не оставляет никакого следа. Деятельность языка остается в словесных образах и словосочетаниях".

„Кроме речи, существует „уже сказанное", не зависящее от частного и случайного употребления,—суще-

ствует запас слов и постоянных грамматических правил, как пользоваться этим запасом".

„Кроме речи, существует еще язык, как мертвая „окаменелость, оживающая в деятельности отдельных индивидов".

Таким образом, язык, признаваемый свободной душевной деятельностью, связывается известными объективными нормами, перешедшими к нам из прошлого языка и не зависящими от моего личного произвола.

Эти противоречия между объективной и субъективной сторонами языка, затем, между речью настоящего момента и всем прошлым языка, и, наконец, противоречия между коллективной деятельностью и деятельностью отдельного индивида — обусловлены дуалистическим характером всего человеческого мышления. Как мы уже видели в IX главе, этот дуализм пытаются разрешить представители, как философии языка, так и чисто спекулятивной философии.

Вот в кратких чертах содержание гумбольдтовского учения. Желающим более подробно ознакомиться с философией Гумбольдта укажу на статью П. И. Житецкого „В. Гумбольдт в истории философского языкознания" в 51 книге „Вопросов философии и психологии" (1900 г.).

Шаткость априорных положений Гумбольдта привела к необходимости историко-сравнительного изучения языков, начало которому было положено Боппом и Яковом Гриммом, если не считать более ранних попыток Фридр. Шлегеля.

Оставляя затем в стороне теории Шеллинга и Гейзе, продолжавших еще оставаться на шаткой почве априорных метафизических построений и видевших в языке проявление жизни мирового, объективного духа, мы должны остановиться на учении Штейнталя, оказавшего в России огромное влияние на Потебню. Главнейшими из произведений Штейнталя являются: Grammatik, Logik und Psychologie", „Abriss des Sprachwissenschaft" и упомянутое уже нами сочинение „Der Ursprung ber Sprache". Строго разграничив в своей книге „Grammatik, Logik und Psychologie" грамматику от логики, Штейнталь

вопросы языкознания целиком переносит уже на психологическую почву и с Лацарусом, с которым вместе издавал журнал:, „Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprashwissenschaft“, является основателем „психологии народов“.

Штейнталь, находившийся, как и Лацарус, под влиянием Гербарта, раскрыл значение апперцепции в языке и показал, что главное назначение слова — служить ее средством.

С другой стороны, он развил учение о „внутренней форме“ слова.

Благодаря своей „внутренней форме“, слово, как средство познания или апперцепции, отыскивает, во-первых, общее в новом восприятии, подлежащем познанию, и в приобретенном уже запасе знаний.

Во-вторых, слово, благодаря „внутренней форме“, является средством представления чувственного образа в первоначальных суждениях языка, в дальнейших-же суждениях современной нам грамматической конструкции, оно становится средством „представления представления“.

Решая вопрос о происхождении языка, Штейнталь в своей ранней теории допускал существование до-язычного homo alalus, который отличался от животных стоячим положением тела, подвижностью головы, ног и рук. Но так как эти особенности могли явиться результатом позднейшего развития, вопрос о существовании homo alalus нельзя считать доказанным, с чем позднее согласился и сам Штейнталь.

Начальный момент речи Штейнталь обозначал, как ономатопоэтический звук, отличительной чертой которого является звуковое сходство с обозначаемым представлением.

Но как мы уже видели, это сходство—результат бессознательного рефлекса; онаматопоэтическии звук не является сознательным подражанием звуковым впечатлениям.

Штейнталь сознал впоследствии, что его теория ономатопоэтических звуков ни исторически, ни психофизиологически не была обоснована и значительно изменил ее.

Он нашел более удобным назвать ономатопоэтические звуки—патогномическими движениями. Патогномические звуки, как рефлективные движения, являются лишь обнаружением чувства, но не указывают, что лежит в чувстве, какая причина вызвала чувство. В звуке выражается не содержание, но лишь общий „чувственный тон". Звук является лишь общей формой нервного движения; между движениями отдельных нервов нет никакой разницы,— и поэтому теперь Штейнталю кажется невероятным, чтобы различным восприятиям соответствовали различные патогномические звуки, как полагал он раньше.

Сознавши это, Штейнталь в сочинении „Der Ursprung der Sprache" говорит о том, что, сохраняя прежнее мнение о рефлекторном характере первоначальных звуков человеческой речи, он изменил лишь свое понятие о рефлексе, согласно с новейшими научными данными.

Одной из характерных особеностей учения Штейнталя является введение им в психологию математических формул и принятых им принципов гербартовой „механики души".

Гербарт первый, как известно, опровергнул долго господствовавшую в психологии теорию неподвижных и нераздельных душевных способностей и показал, „что познание, чувство и воля, считавшиеся прежде первичными областями душевной жизни, в действительности, должны быть выводимы из одной лишь способности воображения—из взаимодействия или „механики" атомов души—отдельных неразложимых представлений".

Не только познавательный процесс, но наши чувства и воля—результат известного взаимоотношения представлений.

Прежде чем перейти к изложению дальнейших судеб философского языкознания, следует упомянуть еще о современниках Штейнталя, Гейгере и Ренане.

Несколько в стороне стоит по оригинальности выдвинутых положений учение Гейгера.

В своих сочинениях он раскрывает ход эволюции языка. Его учение распадается на три отдела: 1) метафизику, излагающую сущность всякой эволюции, 2) психо-

логическое учение об образовании понятий и 3) учение о происхождении языка.

В эволюции главным двигателем, по Гейгеру, является время, „постепенность“ (Allmaehlichkeit).

Но он не указывает законов этого развития; единственный закон у Гейгера—это случай, что, по словам Штейнталя, вернее было-бы назвать „бессмыслицей“.

Но во всякой эволюционной работе видна, однако, целесообразность. Каждое орудие, созданное для какой-нибудь работы, совершенствуется при употреблении.

Относительно принципа постепенности Штейнталь замечает, что на самом деле, как указал еще Гегель, всякое развитие протекает не равномерно и не постепенно, а толчкми (stossweise). Вода, нагревшись, сразу при 100° переходит в пар.

В своих психологических взглядах Гейгер является, в сущности, гилозоистом.

„Наши мысли—это отражение впечатлений, полученных нашей сетчаткой“. Но, по мнению Штейнталя (Der Ursprung der Sprache), это означает, в сущности, смерть разума.

Вопрос об образовании понятий Гейгер решает, исходя из следующего положения. При помощи чувств мы воспринимаем и представляем всегда отдельного человека, но не человека, как такового вообще; не голубя, как такового вообще, но всегда отдельного голубя определенной величины, цвета и формы.

Таким образом, общее существует не в том смысле, в каком его принимает формальная логика,—оно сводится лишь к общим причинам явлений природы. Гейгер реализует это общее и этим ставит себя на одну доску с реалистами.

Гейгер все время старается доказать, что, в действительности, существуют лишь отдельные предметы; в них общее связывается с частным.

И все имена, даваемые ребенком вещам, первое время являются собственными именами.

Но затем ребенок распространяет первоначальные собственные имена на сходные предметы, и так благодаря

„смешиванию“ (Die Verwechslung) возникают уже родовые понятия и в связи с ними — общие, нарицательные имена.

Благодаря „смешиванию“, из представлений отдельных сходных предметов, напр., огурцов, редьки, и возникает смешанный образ овощей, на место которого становится то образ одного, то образ другого предмета.

Эта мысль роднит Гейгера уже с концептуалистами, но ни реализм, ни концептуализм для нас неприемлемы; языкознание должно оставаться всегда на номиналистической точке зрения.

Нам придется еще в дальнейшем вернуться к этому вопросу, но пока скажем, что, на самом деле, понятия возникают не через смешивание, представляющее скорее отрицательную способность, но через сравнение. Называя всех взрослых мужчин „папами“, ребенок не смешивает на самом деле своего отца с другими мужчинами; он сознаат различие и выражает его, напр., в отрицательном покачивании головы, как это делал один мальчик, называвший других мужчин папами (Штейнталь, Der Urspr. der Sprache).

Называя общим именем разные предметы, ребенок отмечает в то же время и черты сходства и создает этим родовые понятия.

Вся его ошибка в том, что он неправильно образует роды с нашей точки зрения.

Допущены Гейгером некоторые противоречия и в изложении вопроса о происхождении языка.

Современником Штейнталя во Франции был Ренан, проповедывавший почти сходные взгляды и расходившийся со Штейналем, по собственному признанию Ренана, лишь „в различии философских формул, употребляемых в Германии и Франции“. („Происхожден. языка“, стр. 15, Киев, 1902 г.).

Цитируемая статья представляет, однако, не психологический, а скорее исторический очерк развития языка.

Штейнталь, приложивший к языкознанию принципы гербартовой психологии, не освободился еще от субстанционального понимания национального духа (срв. его Grammat. Log., und Pscholog., стр 382 и след.).

Первым указал на невозможность совмещения гербартовой „механики души“ с идеей национального духа Герман Пауль, главный представитель направления „новограмматиков“ (Junggrammatiker).

Не находя в духовной жизни народа или общества ни одного факта, который нельзя было-бы вывести из индивидуального сознания, Пауль отрицает возможность „психологии народов“, как дисциплины, отдельной от индивидуальной психологии.

Поэтому мы должны Германа Пауля считать также представителем индивидуалистической теории языка и общества. Возражая против этого мнения, Вундт, сторонник коллективистической теории, указывает на такие продукты человеческой культуры, зарождение которых возможно лишь в сообществе людей.

Главным сочинением Герм. Пауля является его „Principien der Sprachgeschichte“, вышедшее в 1880-м году; оно написано более легким языком, чем сочинения Штейнталя и до появления труда Вундта пользовалось огромным влиянием. Этот труд был знаком и Потебне при составлении им II-го тома „Записок по русской грамматике“. Второе издание Principien der Sprachgeschichte“ вышло в 1886 г., третье в 1898 г.

В первых главах своей книги Пауль рассматривает общие принципы развития языка.

Отдавая дань гербартианству, Пауль исходным пунктом всех изменений языка считает взаимодействие групп представлений (die Vorstellungsgruppen).

Затем он указывает, как образуются новые группы в душе человека (reproduction), при чем главным орудием при образовании новых групп в языке является новообразование по аналогии. Это новообразование по аналогии Пауль представляет в виде решения пропорции: Die productive tätigkeit dabei ist gewissermassen die aúflösung einer proportions-gleichung:a:b—*a*:x“ (Principien, I изд., стр. 74).

Фактором-же, разрушающим звуковые группы, являются, во-первых, звуковые изменения, уничтожающие постепенно звуковое сходство отдельных членов группы, и во-вторых, обособление значения (die isolierung).

Одна из интересных глав—III-я глава, в которой Пауль полагает начало психологическому объяснению звуковых изменений языка, что было блестяще разработано уже Вундтом в его „Völkerpsychologie“.

Упомяну еще о X-й главе, в которой Герман Пауль дает картину первоначального развития языка. Здесь он повторяет отчасти мысли Штейнталя, принятые и развитые у нас Потебней в его сочинениях.

В языке первобытного человека, говорит Пауль, мы еще не видим обозначения предмета, качества и действия, что достигается путем расчленения первоначального предиката. Первоначальные предложения не являются логическими суждениями в настоящем смысле этого слова. Они основаны не на расчленении, а на синтезе („sie beruhen nicht aùf zerlegung, sondern aùf zusammenfügung“ ibid., стр. 198).

И потому первобытным языкам свойственны копулятивные суждения. Эти мысли о приоритете синтеза пред анализом были развиты у нас Потебней в его сочинениях.

От Пауля путь исторического развития языкознания ведет к Вундту, но прежде чем приступить к изложению учения Вундта, следует сказать о других его предшественниках, работавших почти одновременно со Штейнталем и Герм. Паулем, а именно, о М. Мюллере. Потте и Курциусе.

Макс Мюллер, немец по происхождению, сделался впоследствии профессором оксфордского университета.

Большинство его трудов написано на английском языке. Главные сочинения М. Мюллера — „Science of Thought“ (переведенное и на немецкий язык под заглавием „Das Denken im Lichtn der Sprache“ и известное также и в русском переводе) и затем „Vorles. über die Wiss. der Sprache“, очень популярные в свое время, содержат, однако, ряд ошибочных положений, как, напр., об отвлеченности первоначальных корней о том, что единичные имена возникают из собирательных, и ряд других.

Необоснованность мнений М. Мюллера неоднократно доказывалась у нас Потебней в его „Записках по русск. граммат.“.

Главными сочинениями, принадлежащими перу Потта, являются „Etymologische Forschungen“ и „Einleitung in gemeine Sprachwissenschaft“, переведенные на русский язык под заглавием „Введение в общее языковедение“ (Перевод Герм. Генкеля а Ал-ра Васильева, 1885 г.)

В философском освещении фактов языка Потт несколько отступает от психологических тенденций Штейнталя и старается примирить его положения с учением прежней логической грамматики.

Классик по специальности, Курциус в своих работах по греческому языку (Grundzüge der griech. Etymol. и другие) также высказывает ряд философских соображений—о корне, о грамматических формах.

На более подробном рассмотрении мнений названных ученых нам приходилось уже останавливаться в предыдущих главах.

Завершением философии языка на Западе является в настоящее время учение Вильгельма Вундта. Медик по образованию, Вундт занялся философией языка, и результатом этих занятий явилась его „Völkerpsychologie“. I-й том „Die Sprache“, состоящий из двух книг и вышедший в 1900 г., обнимает вопросы языкознания; следующие томы, выходившие почти до последнего времени, посвящены психологии искусства, мифа и религии, обычая и нравов. В своих очерках я касался, главным образом, только I тома „Völkerpsychologie“.

Представляя, по выражению проф. Зелинского, „предел человеческой энергии в области научного труда“, этот труд заключает много новых, оригинальных положений (о выразительных движениях, о звуковой метафоре, психических причинах звуковых изменений и целый ряд других) и построен на основах строго научных данных экспериментальной психологии. В этом труде Вундт, возражая Паулю, отделяет, как мы уже говорили, индивидуальную психологию от психологии народов и старается утвердить основы последней указанием на такие явления человеческой культуры, как язык, миф и

нравы, которые могут возникнуть лишь в обществе. Значительным шагом вперед сравнительно с предшественниками является у Вундта его определение души. Окончательно порывая со всякой метафизикой в психологии, Вундт, в противоположность прежнему субстанциональному пониманию души, выдвигает принцип актуального понимания души. „Человеческая душа ничто иное как закономерная связь психических явлений".

Отличие Вундта от предшествовавших ему гербартианцев и интеллектуалистов заключается также в том, что он как представитель волюнтаризма первичной душевной способностью считает не способность представления (Vorstellen), а волю. Из жеста, как волевого процесса, он выводит также и человеческий язык.

Самым уязвимым местом в учении Вундта является его термин „психология народов", который и был подвергнут критике в работе Диттриха „Die Probleme der Sprachpsychologie" (1913), выясняющей основные задачи психологии языка и ее отношение к другим дисциплинам о языке. Соглашаясь с высказанной Вундтом мыслью о том, что занимающийся психологией языка должен соединять в своем лице психолога и историка языка, Диттрих заявляет, что психология языка лежит, таким образом, на границе между языкознанием и психологией вообще. С другой стороны, психология языка является частью *общественной психологии*; последним термином Диттрих и предлагает заменить менее удачный вундтовский—„психология народов", исходя из следующих соображений: условием возникновения языка является именно не народность только или нация, а, вообще, общество других людей—семья и, прежде всего, общество двух людей

В свою очередь, общественная психология (Gemeinpsychologie) вместе со своим коррелятом—общей (т.-е. индивидуальной) психологией (Allgemeinpsychologie) затем с другими родственными науками—психопатологией и др. — составляют одно целое — психологию вообще (стр. 19—20).

Свежими сравнительно работами по психологии языка являются на Западе труды Ант. Марти, из которых

«Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie» (I Band), 1908) и «Die» «logische», «lokalistische und andere Kasustheorien» (Halle, 1910) вышли позже труда Вундта о языке. Являясь по своим психологическим воззрениям учеником Франца Брентано, основателя «австрийской философской школы» (предложившего новый принцип деления психических явлений на представления, суждения и душевные явления), Марти, основываясь на этом делении, предлагает также иную классификацию грамматических форм. В первом из названных сочинений Марти, предпослав обширные рассуждения о форме в человеческом мышлении, вообще, и в языкознании, в частности, различает далее в формах языка, т.-е. грамматических, две разновидности—«внешнюю» и «внутреннюю», понимая эти термины не в том смысле, в каком они принимались Вундтом. Подробнее о главнейших взглядах Марти нам приходилось уже говорить.

В последнее время на Западе усилился интерес к общему и сравнительному языковедению. Переиздаются работы Есперсена (по экспериментальной фонетике), Мейе (его «Inroduction à l'ètude comparative des langues indo-européenns» вышло уже 5-м изданием в 1922 г.) Дельбрюка (его «Einleit. in das Sprachstudium» в 1920 г. вышло 6-м изданием), выходят новые работы—Vendryes (Le langage, 1921), Есперсена (Language, its nature, development and origin, 1922) Сапира (Language, 1921), Яна Розвадовского (O zjawiskach i rozwoju języka, 1921) и др. О работах новых Шрийнена, Мейе и Тромбетти мы уже упоминали.

Критическая оценка труда Вундта дана в книге Дельбрюка «Grundefragen der Sprachforshung mit Rücksicht aûf W. Wundts Sprachpsychologie», Strassburg, 1901, автор которой сравнивает тезисы вундтовской психологии с учением предшественников гербартианцев, главным образом., Герм. Пауля.

На русском языке самой обстоятельной статьей о Вундте является статья проф. Зелинского «Вильгельм Вундт и психология языка» в 61 и 62 книгах «Вопросов философии и психологии».

Общий очерк развития языковедения на Западе представлен в труде Бенфея (Benfey «Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland», München, 1869), затем в книге известного уже нам Дельбрюка «Einleitung in das Sprachstudium», I-е издание которой вышло в одном году с «Principen» Пауля.

Русский перевод ее, сделанный с 3-го издания, приложен к книге Вулича «Очерк истории языкознания в России», С-пб. 1904.

Тому же предмету посвящена статья проф. Поржезинского в 3 и 4 №№ Русск. Фил. Вестн. за 1897 г. «Важнейшие моменты в истории сравнительного языковедения» и затем II глава его «Введения в языковедение» (I-е изд. 1907 г., 3-е изд. 1913 г., 4-е—1916 г.).

ГЛАВА XII.

Труды словянских ученых по философскому языкознанию и синтаксису.

Историю философского языкознания и синтаксиса, представленную в деятельности словянских ученых, я выделяю в отдельную главу, вследствие ее своеобразной судьбы: словянские ученые совершенно ушли в разработку одной отрасли языкознания — а именно, синтаксиса и лишь в связи с последним занимаются вопросами философского языкознания.

Исторический обзор изучения синтаксиса я начну с упоминания древнейших трудов по грамматике, содержащих также и отдел синтаксиса. Древнейшими грамматическими сочинениями следует считать, во-первых, попадающуюся очень часто в рукописях XIV-го и следующих столетий статью анонимного автора „О восьми частях слова“ и, во-вторых, грамматические рассуждения Константина Грамматика, болгарина по происхождению, деятельность которого относится к концу XIV и началу XV-го века.

Влияние Константина Грамматика, являющегося проводником византийских грамматическик систем, распространилось и в трудах русских ученых.

Но с XVI в. в русскую грамматическую литературу проникает уже латинское влияние, начало которому было положено переводом „Ars minor“ Доната. И в греческих и в латинских системах было по восьми частей речи, различие-же заключалось в том, что в латинск. грамматиках отсутствовал *член* (ἄρθρον), его заменяло междометие (interjectio).

Первым русским сочинением, содержащим отдел синтаксиса, является грамматика Лаврентия Зизания, вышедшая в Вильне в 1596 г.

Но особенно заслуживает внимания „Грамматїки славенска правилное синтагма“ Мелетия Смотрицкого, напечатанная в 1619 г.

Галицкий ученый г. Макарушка в своем труде „Грамматика Мелетия Смотрицкого“ источником синтаксиса Смотрицкого считает латинскую грамматику Меланхтона.

По мнению-же проф. Будиловича и проф. Студинского, она составлена под влиянием Ласкариса. Но более правильным следует считать мнение проф. Грунского (Очерки по истор. разработки синтакс. славянских язык., стр. 223 224), который главным источником грамматики Смотрицкого считает грамм. Альвара.

Находясь под влиянием латинской грамматики, Смотрицкий употребление члена (ἄρθρον, по терминологии-же древн. русских грамматик разлнчіе) считает несвойственным „славенскому языкови“, но зато он, по образцу латинск. interjectio, вводит в свою грамм. междометие.

В последующей русской науке заслуживают упоминания грамматики Ломоносова, Востокова и Греча Следы выработанной последним граматической системы еще и теперь доживают свой век в наших школьных грамматиках.

Труды Греча, как доказывают проф. Грунский, повлияли на Востокова и Буслаева.

Более правильное и научное изучение русского и древне-церковно-словянского синтаксиса берет свое начало со времени Ф. И. Буслаева, занимавшегося в связи с языком также и вопросами мифологии. Главное его сочинение „Опыт исторической грамматики русского языка“, вышедшее первым изданием в 1858-м г. и затем очень скоро после этого вторым изданием под другим заглавием („Историческая грамматика русского языка“), заключает, кроме данных по истории синтаксиса, не утерявших значения и в настоящее время, еще ряд определений природы слова. В его книгу включен также отдел о тропах и синонимах. Против этого включения

отдела возражал в своей рецензии. К. Аксаков, видя в этом нарушение цельности построения. Но эта нецельность только кажущаяся. Проф. Грунский полагает, что Буслаев включением этого отдела хотел провести ту мысль, что „от участия тропов зависит видоизменение в синтаксическом употреблении" (Очерки по истор. разработки синтакс. слав. язык., стр. 236). Но этот взгляд Буслаева ускользнул, по мнению проф. Грунского, от внимания К. Аксакова.

Если предположение Грунского даже и верно, нужно согласиться, однако, с тем, что Буслаев не умел связать этого отдела с остальным изложением и не доказал мысли, позже доказанной Потебней, что всякое образование грамматической формы является определенного рода поэтическим тропом.

В истории языка Буслаев видит вспомогательный материал для истории культуры. Так, еще в своей диссертации „О влиянии христианства на славянский язык" Буслаев указывает на связь языка с религиозными—языческими и затем христианскими верованиями у древних словян.

Важная заслуга Буслаева еще и в том, что он полагает начало историко-сравнительному изучению языков и привлекает богатый материал из древних и словянских языков, но часто „материал этот остается лишь материалом и для дальнейших исследований требует несомненно расширения" (Грунский).

От Буслаева путь исторического развития, интересующих нас областей филологических знаний непосредственно ведет к Потебне.

В числе многих заслуг Александра Афанасьевича Потебни пред наукой едва-ли не самой важной являются его труды по синтаксису и психологии языка, на основах которых была построена им также поэтика и намечено, кроме того, решение ряда других научных вопросов. Идя часто по следам западно-европейской науки, Потебня, однако, внес много собственного, оригинального в освещение этих вопросов.

Первым по времени выхода сочинением, являющимся как-бы введением ко всем последующим трудам По-

тебни в данной области, была его книга „Мысль и язык“, напечатанная впервые в Ж. М. Н. Пр. в 1862 году. В 1892 году вышло 2-е издание этого сочинения с предисловием проф. Дринова, а в 1913 году появилось 3-е издание этой интересной книги, к которой вдова покойного профессора—М. Потебня присоединила статьи „Язык и народность“ и небольшую заметку „О национализме“, связанные по содержанию со взглядами Потебни на язык. 4-е изд. вышло в 1922 г. в Одессе под ред. проф. Б. М. Ляпунова. Это довольно стройная по своему изложению работа Потебни, однако, менее самостоятельна, чем докторская его диссертация „Из записок по русской грамматике“; ее целью является, главн. образ., ознакомление русского читателя со взглядами Гумбольдта и Штейнталя.

Приходится удивляться тому, что „потебнианцы“ (напр., Харциев в своей статье к 4-му изданию, представляющей простой пересказ „Мысли и языка“) видят какое-то откровение в этой почти юношеской работе Потебни, являющейся, в сущности, лишь удачным пересказом мнений Гумбольдта, Штейнталя, Лацаруса и друг. Это преклонение пред „Мыслью и языком“ можно объяснить лишь незнакомством с достижениями языкознания на западе. Но, с другой стороны, именно основательное знакомство с состоянием западно-европейской науки могло-бы дать поклонникам Потебни возможность раскрыть более конкретно его значение в языкознании, так как действительно часто оказывается, что во многих вопросах Потебня опередил западных ученых. Так, напр., в своей статье „Лингвистические заметки“ (Учен Зап. Высш. Шк. г. Одессы, 1922, т. II, посвящ. проф. Б. Ляпунову), я указал но то, что так называемый закон Цупицы (о переходе *s* в *z*) гораздо раньше был формулирован Потебней.

Главная мысль сочинения, как видно из заглавия,— выяснить отношение между мыслью и языком.

Книга состоит из десяти глав. Первые две главы посвящены критическому разбору господствовавших на Западе теорий происхождения языка: теории намеренного изобретения, затем теории божественного откровения и, наконец, теории бессознательного происхождения, представленной, главн. образ., в трудах Беккера, являющегося в тоже время одним из представителей логической грамматики. Первые две теории Потебня излагает по сочинению Штейнталя „Der Ursprung der Sparche“, при разборе-же учения Беккера Потебня пользуется книгой того-же автора „Grammatik, Logik und Psychologie. Одной из интересных глав книги является III глава, посвященная учению Гумбольдта. Но, вслед за Штейн-

талем, однако, Потебня сознает противоречия или антиномии в учении Гумбольдта, обусловленные остатком метафизичности в его учении, сказавшейся, между прочим, в стремлении примирить двоякость основных начал в языке—божественного и человеческого.

Следующие главы, разбираемой нами книги и особенно VIII гл. „Слово, как средство апперцепции" и отчасти IX гл., написаны под сильным влиянием Штейнталя.

В выведении слова из совокупности представлений, затем в определении апперцепции Потебня, собственно говоря, следует Гербарту, что, однако, косвенно отражает влияние того же Штейнталя, впервые применившего к языкознанию принципы гербартианства.

На изложении VIII главы мы остановимся подробнее.

Всякая апперцепция есть объяснение познаваемого посредством уже познанного. Но главное значение апперцепции служить целям познания, т.-е. образованию новых мыслей, и потому результатом апперцепции, как взаимодействия двух масс представлений, апперципирующей и апперципируемой, является приобретение чего-то нового, несходного ни с одной из этих масс. Основными законами, которым подчиняется связывание объясняющего с объясняемым, являются ассоциация и слияние. Для того, чтобы данное явление могло быть воспринято, необходимо, чтобы оно имело хоть какие-нибудь общие черты с апперципирующей массой. Эти общие черты можно назвать средством апперцепции. Третье, общее между двумя членами сравнения (tertium comparationis) и есть средство апперцепции" (Потебня, Мысль и язык, стр. 111).

Таким-же средством апперцепции является и человеческое слово. Оно, благодаря внешней, звуковой форме и так-называемой „внутренней форме", которые являются как-бы tertium comparationis, дает возможность найти общее между новым восприятием и прежде познанным.

Наиболее самостоятельная и наиболее глубокая по содержанию—IX глава „Представление, суждение, по-

нятие", заключающая в себе зачатки тех мыслей, которые разрослись в стройную философскую систему в его „Записках по русской грамматике". Здесь как-бы априорно были намечены главные пункты его учения, которые потом a posteriori были подтверждены Потебней на основании фактических наблюдений над языком.

В этой главе Потебня, во-первых, указывает, как первоначальные разрозненные ощущения, благодаря действию той-же апперцепции, объединяются в цельный комплекс, называемый чувственным образом. Средством этой апперцепции должно быть, как нам уже известно, слово.

От обыкновенного ассоциационного процесса эта апперцепция отличается тем, что она как двучленный акт представляет, в сущности, психологическое суждение, при чем „апперципируемое и подлежащее объяснению будет субъектом суждений, апперципирующее и объясняющее — его предикатом". Все слова, издававшиеся первобытным человеком или вырывающиеся у нас под влиянием охватившего нас чувства или поразившего нас восприятия, как, напр., *пожар* будут психологическими предикатами к чувственным восприятиям.

Опровергнув далее мнение Беккера о том, что эти первоначальные сказуемые являются глаголами, затем мысль Штейнталя о том, что эти слова — сказуемые, как названия признаков действия, следовало-бы назвать наречиями, Потебня доказывает, что первоначальное сказуемое представляет зерно, из которого развиваются будущие грамматические категории. Здесь уже виден намек на будущие исследования Потебни. Далее Потебня выясняет, как образуются в нашей психике понятия вместе с переходом языка от первоначальных синтетических суждений к позднейшим аналитическим.

На этом вопросе я сейчас не останавливаюсь, так как нам приходилось уже говорить об этом в VIII главе нашей книги.

Последняя X глава „Поэзия и проза" содержит ряд положений по вопросам поэтики, которые затрогиваются Потебней также в его магистерской диссертации „О некоторых символах в славянской народной

поэзии“ и в книге „Из лекций по теории словесности“, но которые полнее всего излагаются в его сочинен. „Из записок по теории словесности“. Эти, „Записки“, оставшиеся в черновых заметках, были изданы г. Харциевым.

Книга вся разбита на три отдела.

I-й отдел, носящий заглавие „Поэзия и проза“, устанавливая соответствие между высшими произведениями человеческого слова и отдельным словом, выясняет отношение между поэзией и прозой. Подобно тому, как поэтическое слово отличается от прозаического тем, что в нем, кроме внешней формы и значения, мы находим еще „внутреннюю форму“, подобно этому и всякое поэтическое произведение отличается от прозаического тем, что значение, мысль передаются в нем в художественном образе, являющемся здесь как-бы „внутренней формой“ произведения.

Во II отделе рассматриваются виды поэтической иносказательности. Опровергая обычное определение тропов, как „переносных выражений, произвольно употребляемых с целью украшения речи“, Потебня заявляет, что всякий переход мысли к новому значению является тропом, имеющим своим основанием чисто психологические законы ассоциации.

В III отделе дается определение мифического мышления и указывается на его отличие от мышления поэтического. В „Записках по теории словесности“ затрогивается, кроме того, еще ряд других вопросов, как, напр., о значении художественного произведения для автора и для публики, об идеальности поэзии и ее влиянии, о цели в искусстве, о вдохновении, об отношении народной поэзии к поэзии искусственной. Поражая меткостью и глубиной мысли, ответы Потебни (напр., о субъективной и объективной ценности искусства) развертываются порой в целые, самостоятельные исследования.

Но наибольшее значение в истории синтаксиса и философии языка имеет докторская диссертация Потебни „Из записок по русской грамматике“, — этот ценный перл русской науки, в котором развернулась вся сила

таланта Потебни. В то время, как „Мысль и язык“ представляет, большей частью, априорное изложение принципов западной науки, философские и грамматические принципы в „Записках по русск. граммат.“ представляют стройные и точные выводы, добытые на основании многочисленных наблюдений над всеми языками балтийско-словянской ветви.

Первый том „Записок по русской грамматике“, вышедший в 1874 г., состоит из I части „Введения“ и II части—„Составные члены предложения и их замены в русском языке“.

Повторив в первых главах „Введения“ с некоторыми изменениями и дополнениями все сказанное раньше о природе слова и об отношении его к мысли, Потебня затем в III главе („Различные понятия о корне слова“) отвергает взгляд Курциуса об объективном бытии корней и полемизирует с господствовавшим в западной науке мнением М. Мюллера об отвлеченности первоначальных корней.

В этом мнении он усматривает отражение беккеровой теории „кардинальных понятий“.

Но особенно интересны главы IV, V, VI и VII, в которых определяется сущность грамматических форм, синтаксических и этимологических, и решается также вопрос о процессах создания и разрушения грамматических форм.

Не входя в подробный разбор взглядов Потебни, я резюмирую только их главную мысль: грамматическая форма слова определяется его употреблением в предложении или, иначе говоря, этимологическая природа слова определяется его синтаксической функцией.

Таким образом, этимология и синтаксис не являются различными областями языкознания, изучающими в отдельности, с одной стороны, внешние формы и, с другой стороны, их значение, как полагал Буслаев. Этимология и синтаксис отличаются друг от друга только, как различные точки зрения на одну и ту же область явлений.

В связи с приведенным определением грамматической формы Потебня считает ошибочным тот взгляд,

что период создания форм в языке сменяется периодом их разрушения. С исчезновением внешних признаков грамматическая форма еще не исчезает; она продолжает жить в значении, которое определяется местом слова в предложении.

Потебня дает также новые определения частям речи, исходя из того, какая роль принадлежит слову в предложении.

Предложение является также исходной точкой для исторического развития грамматического строя языка; картину этого развития Потебня раскрывает во II и III частях своих „Записок по русской грамматике".

Главная мысль всех исследований Потебни—это мысль об изменчивости и подвижности грамматических форм.

Это развитие грамматического строя, как указал Потебня, состоит в переходе от конкретного слияния к диференциации отдельных частей речи. Синтаксические выводы первой части можно формулировать в следующих словах:

В своем историческом развитии язык постепенно переходит от составного сказуемого, главн. образ., в его причастной форме, к простому, и одновременно с этой эволюцией увеличивается противоположность между именем и глаголом, и диференцируются их функции.

Причастия, более близкие по функции к глаголу, превращаются в личные глаголы, причастия же, более отдаленные от глагола, становятся именами.

Но в первоначальной категории имени не различалось существительное от прилагательного; это различение наступило уже позже. Истории этого отделения имени прилагательного от существительного и посвящена III ч. „Записок" Потебни, составленная из посмертных материалов и изданная под редакцией Харциева в 1899 г.

Заключая свой краткий обзор учения Потебни, на чем более подробно мы останавливались в предыдущих главах, мы видим, что Потебня дал нам не мертвую классификацию грамматических форм; он мощным взмахом своего гения нарисовал картину исторического раз-

вития языка, которое всегда вытекает лишь из внутренней жизни духа и обусловливается его законами.

В противоположность попыткам Буслаева, Потебне удалось также доказать, что всякое образование грамматической формы является поэтическим тропом, художественным способом представления логического содержания мысли.

Глубиной и содержательностью своего учения Потебне удалось возбудить среди многих русских и западных ученых интерес к изучению синтаксиса и психологии языка и создать в России целую школу последователей. На Западе многие положения из учения Потебни приняты Ягичем.

Первым по времени из учеников Потебни является рано умерший и оплаканный самим Потебней А. В. Попов, который в своем труде „Синтаксические исследования. I Именительный, звательный и винительный в связи с историей развития заложных значений и безличных оборотов в санскрите, зенде, греческом, латинском, немецком, литовском, латышском и славянском наречиях“ (Воронеж, 1881 г.) старается доказать наибольшую древность винит. падежа, который первоначально отправлял и функции именительного. И лишь позднее появляется именит. падеж, который начинает обозначать ближайший предмет в то время, как за винительным остается лишь роль обозначения более отдаленных предметов.

В этом и некоторых других положениях Попова сказалось сильное влияние Курциуса.

Но наиболее видным последователем Потебни и лучшим популяризатором его учения является акад. Д. Н. Овсянико-Куликовский.

Идя по стопам своего учителя, он в ряде своих работ старался развить дальше и всесторонне обосновать мысль Потебни об усилении в нашем языке сказуемости на счет субстантивности.

Овсянико-Куликовский дополняет труды Потебни тем, что он выходит из области одних только словянских наречий и переносит свои исследования на почву

индо-европ. языков (см. „Синтаксическ. наблюден.“ Ж. М. Н. Пр. за 1897, 98 и 99 гг.).

Но главное отличие работ Овсянико-Куликовского от работ Потебни то, что он многие свои положения обосновывает не на филологических, а на психологических доказательствах. Такой перевес психологизма мы видим в определении акта предицирования („Синтаксические наблюдения“; „Психология мысли и чувства. Художественное творчество“ VI т. сочинений).

Определяя предикативность, как отличительную черту не только грамматического, но психологического и логического суждений, Овсянико-Куликовский отожествляет этим вполне справедливо предицирование с актом апперцепции.

Первым отличительным моментом предицирования (как, вообще, процесса апперцепции, добавим мы) является вступление содержания представления в светлую, фиксационную точку сознания.

Другая существенная черта предицирования состоит в его волевом характере.

Проводя с целью выяснения этой стороны явления параллель между предицированием и аттрибутированием („снег — бел“ и „белый снег“), Овсянико-Куликовский отличительной чертой первого акта считает присутствие в нем субъективного самосознания, известного волевого усилия, в то время, как самосознание субъекта в аттрибутировании почти сведено к нулю.

В связи со сказанным о предицировании Овсянико-Куликовский выясняет также разницу между причастием в роли предикативного аттрибута и в роли предикативной аппозиции.

Отдельное исследование Овсянико-Куликовский посвятил бессубъектным предложениям. Этим вопросом занимались до него Потебня и Миклошич.

В противоположность Миклошичу, классифицировавшему безличные предложения на основании формального значения находящегося в них глагола, Овсянико-Куликовский в основу своей классификации кладет различие в степени бессубъектности предложения и, исходя из

этого, все бессубъектные предложения делит на абсолютно-бессубъектные и относительно бессубъектные.

Из обзора исторического развития бессубъектных предложений Овсянико-Куликовский делает следующее философское обобщение. Указав на развитие бессубъектных выражений в различных языках, указав затем на то, что с помощью безличных оборотов с il и es во французском и немецком языках может быть выражено почти всякое личное предложение, Овсянико-Куликовский выводит заключение, что вместе с ростом бессубъектности в языке субстантивность постепенно вытесняется предикативностью или глагольностью.

Это исчезновение субстантивности в безличных предложениях Овсянико-Куликовский удачно ставит в связь, как замечает проф. Грунский, с постепенным исчезновением medium'а, „в котором сказывалась" „оглядка на подлежащее" и с появлением на его место форм пассива, „низводящего производителя признака в фиктивного действователя" (Очерки по истор. разраб. синтакс. слав. яз., II, стр. 112).

Идеи Потебни нашли отражение в ряде трудов других ученых, напр., в „Начертании церковно-славянской грамматики" Будиловича, который применил к старословянскому языку принципы учения Потебни.

Влияние Потебни сказалось также в работе Добиаша „Опыт семазиологии частей речи и их форм на почве греческого языка" (Прага, 1897 г.).

В последнее время мы видим также стремление провести основные принципы учения Потебня в школьные учебники по грамматике.

Но все эти попытки отказаться от традиционной грамматической системы и создать наукообразный синтаксис для наших школ пока не принесли существенных результатов, если не считать почти единственной в своем роде книги А. М. Пешковского „Русский синтаксис в научном освещении. Популярный очерк". Москва 1914 г. Некоторые из этих учебников, как напр., „Грамматика" Овсянико-Куликовского, страдают своей недоступностью для детей школьного возраста, другие, как, напр., учебники Баталина, С. Н. Браиловского, обнаруживают

слишком поверхностное знакомство с трудами Потебни. Но между тем, изложенное доступным языком учение Потебни могло-бы принести огромную пользу нашей школе: оно могло-бы скучный, ненавистный учащимся синтаксис превратить в живой философский предмет. Русская школьная грамматика и ожидает такого новатора, который, не впадая в крайний формализм, пустил бы в общий оборот оставленный Потебнею капитал.

Ознакомившись с учением Потебни и его последователей, мы остановимся еще на трудах западно-словянских ученых по синтаксису (Миклошича, Ягича и Вондрака) и сопоставим их учение с учением русских языковедов.

В одном году с I т. „Запис. по русск. граммат." Потебни вышел в свет труд Миклошича „Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen", который, однако, несмотря на обилие приведенного Миклошичем фактического материала, заимствованного, главн. образ., из народной поэзии, значительно уступает работам Потебни по ценности предлагаемых автором выводов. Причиной этого проф. Грунский правильно считает принятый Миклошичем метод исследования. Миклошич в определении и изучении частей речи исходит не из предложения, в котором зарождаются все грамматические категории, как это делают Потебня и Ягич; Миклошич определяет части речи независимо от их роли в предложении, определяет лишь по их внешним признакам, им присущим, и потому я, расходясь в этом отношении с проф. Грунским (Очерки по ист. разраб. синтакс. слав. яз., II, стр. 4), считаю совершенно верным сравнение „грамматиков, пользующихся системой Миклошича, с зоологами или ботаниками, которые, не давая цельного представления растен. или животных, описывали только отдельные их части".

„Vergleichende Syntax" состоит из двух частей: I ч. „О знании частей речи" и II ч. „О знании словесных форм", посвященной изменению этих частей речи — вопросу о падежах и о глагольных формах.

Приводим некоторые грамматические определения Миклошича. „Слово, по определению Миклошича, есть

для говорящего и слушающего одинаково признаваемые звуковые знаки определенного ограниченного представления".

Определяя затем различие между существительным и прилагательным, Миклошич указывает, что разница между ними по значению состоит в том, что первое обозначает носителя признака, а второе не обозначает носителя, различие-же по форме состоит, во-первых, в различных суффиксах и, во-вторых, в том, что существительное не может, подобно прилагательному, изменяться по родам и степеням сравнения.

В изложении отдельных падежей проф. Грунский указывает на следующие неправильности.

Миклошич, как и Вондрак в позднейшее время, слишком смело считает оборот accusativus cum infinitivo в словянских языках заимствованием из классических языков. Предпочтительнее, по мнению проф. Грунского, та осторожность, с которой решает этот вопрос Потебня.

В родительном пад. словянских языков Миклошич видит наследие двух падежей индо-европ. праязыка: древнего ablativus'a и genetivus'a. Разновидностью родит. пад. в словянских языках является также genetivus partitivus.

В изложении твор. пад. Миклошичем допущена следующая ошибка. Подобно Буслаеву, предикативный творительный Миклошич считает более древним оборотом, чем именительный предикативный. Неправильность этого мнения была доказана Потебней во II т. его „Записок по русск. грамм.".

Главным трудом Ягича по синтаксису является его „Beiträge zür slavischen Syntax (Wien. 1899)".

В своем синтаксисе Ягич исходит из более правильной точки зрения—из изучения предложения; расходясь с многими неправильными выводами Миклошича, Ягич приближается скорее ко взглядам Потебни. Так, приближаясь к мнению Потебни, он считает основным элементом предложения verbum finitum. В противоположность Миклошичу, он разделяет ту правильную мысль, что не только внешним путем, т.-е. посредством при

соединения соответствующих суффиксов—прилагат-ное, числительное и другие части речи переходят в существительное. Необходимым условием субстантивирования этих частей речи будет их появление в предложении в роли субъекта.

В вопросе о падеже именной части сказуемого Ягич также стал на точку зрения Потебни и вполне правильно доказывает мысль о большей древности именительного падежа пред творительным в роли именного предиката.

В изложении вопроса о предикативности причастия Ягич также следует Потебне (в гл. „Particip als Prädicat“).

В начале нынешнего столетия вопросами синтаксиса занялся Вондрак, который посвятил синтаксису значительную часть II тома „Vergleichende slavische Grammatik“, но нужно согласиться с мнением проф. Грунского, что синтаксис Вондрака стоит значительно ниже работ предшествующих ученых по этому вопросу. Если мы проведем параллель между Вондраком и Миклошичем, мы увидим, что Вондрак, подобно Миклошичу, не исходит из живого, цельного предложения, а рассматривает грамматич. формы независимо от него, но многие неправильности в труде Миклошича искупаются богатством приведенного материала, чего мы не можем, однако, сказать относительно синтаксиса Вондрака.

Но особенно теряет труд Вондрака при сравнении с работами Потебни. У Вондрака мы не находим исторической точки зрения на язык, как у Потебни; в изложении Вондрака факты языка не живут, не развиваются, они умерщвлены губительной, иссушающей классификацией или „грамматической анатомией“, как выражается проф. Грунский.

Кроме того, проф. Грунский вполне справедливо отмечает „чересчур поверхностное знакомство Вондрака с трудами Потебни“. Вследствие того же незнакомства с литературой вопроса Вондраком допущены и другие ошибки, как, напр., в объяснении употребления родит. пад.

Он не только признает, вслед за Миклошичем, особую категорию родит. партитивного в словянских языках, но этот вид родит. пад. Вондрак считает даже основ-

ным его значением. Однако, эта категория, как доказал проф. Томсон, не является исконной в словянских языках; она проникла в наши грамматики лишь под влиянием латинского языка. Некоторые из статей проф. Томсона по этому вопросу вышли еще до появления в свет „Сравнительной грамматики" Вондрака, и потому допущенные последним неправильности в толковании родит. пад. являются не вполне простительными.

Приведенной литературой исчерпываются труды общего характера по синтаксису словянских языков. Теперь мы должны сказать еще несколько слов о монографиях по отдельным вопросам, из которых наиболее интересными являются статьи проф. А. И. Томсона, посвященные употреблению родительного — винительного в словянских языках. В более ранних работах „Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русск. языке" (Варшава, 1902) и „К синтаксису и семасиологии русского языка" (Одесса, 1903 г.) проф. Томсон выясняет семасиологические причины появления родительного падежа в значении дополнения, отвергая обычное мнение о партитивном происхождении этого падежа. Разница в употреблении падежей вызвана различием в значении. При большей конкретности, определенности дополнения язык употребляет форму вин. пад. (не шей красный сарафан), при известной же абстрактности, неопределенности—форму родительного падежа (не нашел подходящей квартиры). В связи с этим Томсон опровергает неправильный взгляд на genetivus partitivus в словянск. языках. Большей частью, родит. партитивный обозначает не часть, а именно служит выражением неопределенного, абстрактного дополнения. Позднейшие работы проф. Томсона „(Родит.—винит. пад. при названиях живых существ в словянских языках", Известия отд. русск. яз. и слов. Акад. н., 1908, №№ 2, 3)— посвящены уже вопросу о замене формы винит. пад. формой род. пад. в основах на—о муж. рода. Главной причиной проф. Томсон считает совпадение форм имен. и вин. пад. ед. ч. муж. р. (Иван позвал Петр), что вызвало стремление диференцировать подлежащее от дополнения.

Исследования проф. А. И. Томсона вызвали возражения Н. П. Некрасова, который, возвращаясь к учению о genetivus'e—partitivus'e, предполагает пред названиями вещественных предметов пропуск слова *часть*, *кусок*, пред собственными же именами—пропуск слова *личность* (я знаю личность Петра). Но все эти слишком натянутые возражения Некрасова удачно опровергнуты проф. Томсоном.

Создавший своими лекциями по сравнительной грамматике индо-европейских языков целую школу лингвистов у нас и за границей—знаменитый акад. Фортунатов свою лепту внес и в русскую литературу по синтаксису своей небольшой, но ценной статьей „О залогах русского глагола" (Изв. отд. р. яз. и сл. Р. Ак. н. IV, 1899, кн. 4-я) и методической статьей „О преподаван. граммат. русск. яз. в средн. школе" (Русск. Филол. Вестн., 1905, № 2).

О работах профессоров Богородицкого и Будде и акад. Шахматова—по синтаксису мы говорили в соответствующих местах.

Этим мы закончим исторический обзор изучения словянского синтаксиса. С историей развития этой науки нас знакомит неоднократно цитировавшаяся нами диссертация проф. Грунского „Очерки по истории разработки синтаксиса славян. язык.", I т. которой посвящен учению Потебни, II т.—обзору всех трудов остальных ученых по этому вопросу. Являясь в настоящее время почти единственным пособием при изучении истории разработки синтаксиса, эта книга, однако, не может претендовать на самостоятельность исследовании, если не считать приложенного к ней разбора языка Зографского Ев. Являясь обыкновенным переложением разных мнений, переложением, не подчиняющимся определенному плану, она не дает какого-нибудь нового, критического освещения излагаемых вопросов; автор ее ограничивается лишь замечаниями о том, что он согласен или не согласен с тем или иным мнением, что следовало бы расположить материал в таком-то порядке, при чем автор не объясняет часто даже оснований своего убеждения.

Немало сведений сообщает также капитальный труд акад. И. В. Ягича „История славянской филологии“ (Энциклоп. славянск. филолог., вып. I), по поводу которого его рецензент—акад. Сперанский (Изв. отд. р. яз. и сл. Р. ак. н., т. XV, кн. 2-я, стр. 167—179) заметил, что „в его (Ягича) лице славянская филология получила своего летописца, в его „Истории“—крупное событие в своей истории“.

Изложение учения Потебни, Овсянико-Куликовского, Будде, Богородицкого и др., главн. образ., в приложении к вопросам преподавания родного языка, находим в книге И. П. Плотникова „Методическая трилогия. 1-я ч. Психологическая школа в языкознании и методика русского языка“ (изд. 2-е, Курск, 1921).

Дополнительные библиографические указания.

Помимо упоминавшихся уже трудов по общему языковедению и его различным отделам—Томсона, Богородицкого, Будде, Ушакова, Ол. Брока, Мейе и мн. др., назову еще несколько книг более общего популярного характера. *Кульбакин* „Языкознание“ (в VII т. „Народной Энциклоп.“, Харьков, 1911); *Кудрявский* „Введение в языкознание“, 2, 1913; *Поржезинский* „Элементы языковедения и истории русского языка“, М. 1910; *Рихтер* „Как мы говорим“, перев. с нем., 1913. *Sandfeld — Yensen* „Die Sprachwissenschaft (1915), перев. на украинский язык проф. Тимченком (Язикознавство, Камянець на Поділлю, 1920); *Свенцицкий* „Основи науки про українську мову“ (Київ, 1917).

Заслуживают еще упоминания сжатый, но местами удачный „Основной курс общего языкознания“ (Птб., 1897) *А. Л. Погодина* и „Опыт введения в изучение русского литературного языка и письма“ (Варшава, 1911) *А. В. Михайлова*.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

Глава I. Природа слова и его образование в человеческой психике.

Общее определение слова. Роль его в мышлении. Слово как процесс ассоциации представлений. Апперцепционный характер слова. Происхождение языка. Методические выводы. 5

Глава II. Внутренняя связь между звуком и значением.

Вопрос о дофлексивном периоде человеческого языка. Характер первоначальных слов—корней. Взгляд „теории развития" на внутреннюю связь между звуком и значением. "Естественные звуковые метафоры" 25

Глава III. Звуки человеческой речи.

Отдельный звук речи—результат абстракции. Гласные звуки. Условия их производства и их различия. Таблица гласных звуков. Согласные звуки; деление их по роду и по месту преграды. Общая таблица главнейших звуков человеческой речи. 33

Глава IV. Сочетания звуков.

Звук как результат абстракции. Устойчивые и переходные звуки. Влияние соседних звуков. Учение о фонемах. Слог. Ударение. Ритм. Вопрос об обучении грамоте и письму. 50

Глава V. Звуковые изменения и их причины.

Взгляд прежних языковедов на природу фонетических изменений. „Обусловленные" и „спонтанеические" изменения звуков. Главные виды обусловленных изменений. Ассимиляция и диссимиляция соседних и несоседних звуков; ассимиляция полная и частичная. Диссимиляция в статическом состоянии. Метатеза звуков. Спонтанеические изменения. Психологическое об'яснение звуковых изменений. Фонетические изменения чисто физиологического характера. Понятие о „звуковом законе". Мнимые исключения из звуковых законов. Социальные основы языка. 60

Глава VI. Семасиология.

Сущность семасиологических изменений. Перенесение слова как главная основа изменений значения слова. Условия поэтичности слова. Виды тропов. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Познавательная роль тропов. 75

Глава VII. Грамматика.

Определение грамматики и ее отделов. Слово со стороны морфологического состава. Виды морфологических принадлежностей. Морфологическая принадлежность как внешний критерий грамматических категорий. Формальный и семасиологич. принципы. Определение грамматической природы слова в зависимости от его роли в предложении. Анализ предложения. Вопрос о преподавании грамматики. 98

Глава VIII. Главные принципы эволюции грамматического строя.

Переход грамматического строя от конкретного слияния к дифференцированию отдельных частей речи. Эволюция языка от синтетических суждений к суждениям аналитическим. Вопрос об образовании логического понятия. Переход языка от паратаксиса к гипотаксису. Исчезновение флексического материала в развитии языка. Изменение морфологич. состава слов. Новообразование по аналогии. Народная этимология. . . 138

Глава IX. Отношение между грамматикой и логикой.

Всеобщая или логическая грамматика в трудах Беккера и Германа. Возражения против логической грамматики, сделанные Штейнталем. Крайности в воззрениях Штейнталя. Общность физиологичических и психологических основ языков. 163

Глава X-я. Понятие о сравнительном языковедении.

Общее и сравнительное языковедение. Историко-сравнительный метод. Сравнительная грамматика индо-европ. языков. Сведения о главных индо-европ. ветвях. Сравнительная грамматика словянских языков и ее задачи. Не-индо-европейские языки 171

Глава XI. Исторический обзор мнений о происхождении и сущности языка.

Взгляд древних греков на язык. Воззрения Беккера. Гумбольдт, Штейнталь, Герм. Пауль и некотор. другие исследователи языка. „Völkerpsychologie“ Вундта. Работы Марти и др. 185

Глава XII. Труды словянских ученых по философскому языкознанию и синтаксису.

Своеобразный характер деятельности словянских ученых по данным вопросам. Труды первых русских ученых. Буслаев, А. А. Потебня и его ученики. Акад. Овсянико-Куликовский. Труды западных ученых: Миклошича, Ягича и Вондрака. Монографии по синтаксису проф. А. И. Томсона. 199

БИБЛИОТЕКА
Инстит. Красн. Профес
Инв. №

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
Т-ва „В. В. ДУМНОВ, насл. бр. Салаевых".
МОСКВА, Б. Лубянка, 15. | ТЕЛЕФОНЫ: 2-31-29; 1-74-22.

ПСИХОЛОГИЯ и ПЕДАГОГИКА.

Болтунов, А. П., проф. **Трудовая школа в психологическом освещении.** М. 1923 г., стр. 147, **ц. 1 р. 50 к.**

Содержание: Мотивы и цели трудового воспитания. Психологический анализ труд. воспитания. Методический принцип труд. восп. Воспитание гармонически-действенной личности. Воспитание навыков к разумному труду. Воспитание навыков к интенсивному труду. Воспитание навыков к общественно-полезному и радостному труду. Образовательное содержание трудовой школы. Ручной труд. Подготовка педагога к трудовой шк. Учительство и школьная реформа.

Из отзывов печати: Педагогический процесс постепенно формирующейся советской школы книга т. Болтунова освещает светом современных педагогических идей... Книга т. Болтунова—это как бы проверка заданным числом заранее принятого положения. Она была бы значительно интересней для читателя, появись в печати 4—5 лет назад. Главы III—XII читаются с неослабевающим интересом (Н. Горностаев, **„Книгоноша"** № 30, 1923 г.).

Для осуществления идей трудовой школы рядовым педагогам не хватает, по мнению автора, „ясного сознания трудового воспитания, его истинных целей и вытекающих отсюда средств". Он бодро смотрит на судьбы трудовой школы. Во многих утверждениях он вполне прав (**„Просвещение Донбасса"** № 9, 1923 г.).

См. также **„Народное Просвещение"** Наркомпроса № 8, 1923.

Болтунов, А. П. проф. **Метод анкеты в педагогическом и психологическое освещении.** М. 1923 г., стр. 93, **ц. 95 к.**

Содержание: I—Историческое введение. II—Что такое анкета? III—Область анкетных исследований. IV—Количественные и качественные анкеты. V—Выбор корреспондентов. VI—Постановка вопросов. VII—Письменные и устные анкеты. VIII—Обработка анкетного материала. IX—Преемственность анкетных исследований.

Самсонов, Н. В. проф. **Развитие воображения у детей.** Посмертное издание. С предисл. проф. Г. Гордона. М. 1923 г., стр. 116, **ц. 80 к.**

Содержание: Развитие воображения у детей. Воспитательное значение воображения. Стадии развития воображения у детей. Некоторые характерные черты детской фантазии. Игры. Поэтическая фантазия детей. Педагогическое воздействие на воображение. Библиография.

Из предисл. проф. Гордона. Предлагаемая вниманию читателя книга покойного проф. Моск. Университета Н. В. Самсонова послужит ценным руководством для педагога, так как в сжатой и ясной форме живого и насыщенного конкретным материалом изложения дает изображение проблемы детской фантазии.

См. также отзыв проф. Миртова (**„Просв. Донбасса"** № 9, 1923).

Чарльс Мейорс, директор психологич. лаборатории Кэмбриджского университета. **Психика и труд.** Психологические факторы промышленности и торговли. Пер. с англ. О. И. Нечаевой. Под ред. и с предисловием проф. А. П. Нечаева. М. 1923 г., стр. 124, **ц. 90 к.**

Содержание: Исследование двигательных процессов. Исследование утомления. Исследование процесса выбора профессии. Сокращение производительности. Система оплаты труда. Промышленный упадок.

Из предисл. проф. Нечаева: Предлагаемая вниманию русск. читателей книга Ч. С. Мейерса представляет собою ценную попытку осветить вопрос об организации труда с точки зрения психологии, главным образом, с точки зрения тех исследований, которые были произведены в этой области в течение последнего десятилетия. Внимательное изучение психологич. факторов труда, основанное на значительном и разнообразном материале, приводит автора к целому ряду важных практич. выводов.

Парамонов, М. К. Заметки по новой школе. (Конспективная дидактика). С предисловием Н. К. Крупской. Изд. 2-е. М. 1923 г., **ц. 75 к.**

Содержание: Основн. недостатки старой школы. Задачи нов. школы. Задачи и роль учителя. Система. Психологический интерес. Генетический метод. Центр. идея и ее значение. Согласование занятий с настр. детской массы. Физическое образование. Эстетич. развитие. Прогулки и экскурсии. Домоведение. О домашних

работах. Познавательные методы. Методы обучения. Самоуправление и детские организации. Коллективн. соревнование. Ученическая библиотека. Выставка детского творчества. Детские праздники, вечера и утра. Детские товарищеские суды. Внеурочные занятия.

Из **предисловия** Н. К. **Крупской**: „Предлагаемая книжка является ярким отражением исканий русск. учителя. Думаю, что всякий, кому дорога школа, прочтет книжку Парамонова с большим интересом и пользой для себя".

Из отзывов печати: Отрадно встретить попытку осветить принципы новой школы и разрушить устои старой; особенно ценным в этой книжке является то, что заметки автора не есть плод фантазии, а результат наблюдений и работы с живой действительностью, с детьми разного возраста („**Книгоноша**" № 29, 1923 г.).

Поляков, В. Г. Любимые игры детей. Изд. 2-е. Допущено Научн.-Пед. Секц. ГУС'а, М. 1923 г., стр. 94, **ц. 70 к.**

Из предисловия: Игры, описанные в сборнике (около 80), относятся к наиболее типичным „любимым играм" детей и собраны из бесконечного количества вариаций игр. Описаны игры кратко, но достаточно полно для применения на практике, при чем каждая игра может служить основою для детского творчества, сообразно интересам, потребностям и возрастному периоду детей.

Из отзывов печати:—Работникам школ 1 ступени, работникам детских площадок, садов и домов, наконец, семье эта маленькая, но ценная книжечка принесет, без сомнения, большую пользу. Со времени октября 1917 года идет громадная работа по пересмотру приемов педагогического воспитания детей. Школа и другие детские учреждения стремятся стать в уровень с требованиями жизни. В основу нового воспитания кладется мысль—исходить из требований и запросов самого ребенка. С этой точки зрения можно смело сказать, что игре как педагогическому приему, особенно до 15-летнего возраста, принадлежит не только настоящее, но и будущее. В старое, дореволюционное, время „игра" допускалась в школу, но как придаток, поскольку он не нарушает „прохождения программы". В новой системе воспитания ребенка игра, наоборот, является основой изучения всех явлений жизни. Игра поистине может при разумной и планомерной системе дать педагогу не только ключ к детской душе, но и самому ребенку возможность радостного усвоения всех начал знания. Вот почему эта книжечка должна обратить внимание всех работников по воспитанию ребенка.

Содержание книжки довольно разнообразно. Здесь помещены статейки о связи периодов детства с игрою, о значении игр и т. д. (по Фребелю, Джонсону, Ганзбергу). Приведен ряд советов руководителям игр (например, как устраивать игры с пением), изречения великих людей о пользе и значении игр, стихотворения, связанные с играми и, наконец, 77 номеров игр. Сравнительно с первым изданием, сборник дополнен новыми „играми"; описания игр сделаны кратко, но достаточно полно для применения на практике. Издан сборник изящно

(Журнал „**Кооператор**" № 44, 1923 г.)

Рубинштейн, М. М., проф. **Эстетическое воспитание детей.** Изд. 3-е, исправл. М. 1924 г., стр. 118, **ц. 1 р. 30 к.**

Содержание: Необходимость эстетического воспитания. Из истории проблемы эстетич. воспитания. Сложность проблемы. О понятии эстетического. Добро и красота в их взаимоотношении. Эстетика и ценность истины. Эстетизм и социальная жизнеспособность. Цели эстетического воспитания детей. Эстетические восприятия у детей. Общая характеристика пути эстетич. воспитания. Обучение ли? Истинный дилетантизм и его смысл. Эстетическая подготовка педагогов. Несколько слов о конкретных путях эстетич. воспитания. Указатель литературы.

Нечаев, А., проф. **Психологический метод обучения чтению.** Допущ. Нар. Пед. Сек. ГУС'а. М. 1923, стр. 52, **ц. 30 к.**

Содержание: Психология и школа. Что говорит психология о процессе чтения. Как читают дети. Психологические основы разных типов процесса чтения у детей. Когда следует начинать учить ребенка чтению. Как надо учить детей грамоте.

Из отзывов печати: Брошюра будет полезна для учителей, потому что она устанавливает новую точку зрения на обучение грамоте и заставляет задуматься над правильностью обычных методов. (**Н. Чехов.** „Вестн. Просв. МОНО", № 3, 1923 г.). См. также **Сейдев** „Родной язык в школе" № 4, 1923 г.

Игнатьев, В. Е., проф. **Исследование физического развития человека** дошкольного, школьного и призывного возраста (печатается).

Содержание:—Введение. Рост и измерение роста. Вес тела и его определение. Грудная клетка и ее измерение. О соотношении между ростом, весом и окружностью груди. Исследование мышечной силы (динамометрия). Измерение головы. Определение степени жизнеспособности новорожденных детей. О пропорциях человеческого тела. Краткие сведения по обработке получаемого измерениями сырого материала. Схема исследования. Литература.